
Франсуаза
САГАН
Смутная улыбка

Смутная улыбка
Франсуаза Саган

Аннотация
Франсуаза Саган. Смутная улыбка
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  ГЛАВА ПЕРВАЯ
  ГЛАВА ВТОРАЯ
  ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  ГЛАВА ПЯТАЯ
  ГЛАВА ШЕСТАЯ
  ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  ГЛАВА ПЕРВАЯ
  ГЛАВА ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  ГЛАВА ПЕРВАЯ
  ГЛАВА ВТОРАЯ
  ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  ГЛАВА ПЯТАЯ
  ГЛАВА ШЕСТАЯ

Аннотация

Герои романов Франсуазы Саган, потомки Адама и Евы, как и все смертные, обречены, любить и страдать, ибо нет и, наверное, не было на Земле человека, насладившегося любовью сполна...

Франсуаза Саган
Смутная улыбка

Любовь — это то, что происходит между двумя людьми, которые любят друг друга.

Роже Вайан

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

После двенадцати мы сидели в кафе на улице Сен-Жак, это был обычный весенний день, такой же, как все. Я немного скучала, потихоньку; пока Бертран обсуждал лекцию Спайра, я бродила от проигрывателя к окну. Помню, облокотившись на проигрыватель, я засмотрелась на пластинку, как она медленно поднимается, потом ложится на сапфировое сукно, прикасаясь к нему нежно, будто щека к щеке. И, не знаю почему, меня охватило сильное ощущение счастья: в тот момент я вдруг физически остро почувствовала, что когда-нибудь умру и рука моя уже не будет опираться на этот хромированный бортик, и солнце уже не будет смотреть в мои глаза.

Я обернулась к Бертрану. Он смотрел на меня и, увидев мою улыбку, встал. Он и мысли не допускал, что я могу быть счастлива без него. Я имела право на счастье только в те минуты, которые были важными для нашей совместной жизни. Я уже начала понимать это, но в тот день мне это было невыносимо и я отвернулась. Рояль и кларнет, чередуясь, выводили «Покинутый и любимый», мне был знаком каждый звук.

Я встретила Бертрана в прошлом году, во время экзаменов. Мы провели бок о бок беспокойную неделю, пока я не уехала на лето к родителям. В последний вечер он меня поцеловал. Потом он мне писал. Сначала о пустяках. Затем тон его изменился. Я следила за этими изменениями не без некоторого волнения, и когда он написал мне: «Смешно так говорить, но, кажется, я люблю тебя», — я не солгала, ответив ему в том же тоне: «И правда смешно, но я тоже тебя люблю». Это вышло как-то само собой, вернее, внешне было созвучно тому, что написал мне он. В доме моих родителей, на берегу Ионны, было не очень весело. Я ходила на высокий берег и, глядя на скопище желтых водорослей, на их колыхание, начинала бросать шелковистые, обкатанные камешки, черные и стремительные на глади волн, как ласточки. Все лето я про себя повторяла «Бертран», думая о будущем. В конце концов, договориться о взаимной страсти в письме — было вполне в моем духе.

И вот теперь Бертран стоял позади меня. Он протягивал мне стакан. Я обернулась, и мы оказались лицом к лицу. Он всегда немного обижался на то, что я не принимала участия в их спорах. Я любила читать, но говорить о литературе мне

было скучно.

Он никак не мог к этому привыкнуть.

— Ты всегда ставишь одну и ту же мелодию. И знаешь, я ее очень люблю.

Последнее он постарался сказать равнодушно, и я вспомнила, что первый раз мы слушали эту пластинку вместе. Я постоянно обнаруживала в нем ростки сентиментальности — он помнил какие-то вещи, служившие вехами в нашей связи, которые моя память не сохранила. «Ведь он ничего не значит для меня, — вдруг подумала я, — мне скучно, я ко всему равнодушна, ничего не ощущаю, ровным счетом ничего». И снова чувство какого-то бессмысленного возбуждения подступило к горлу.

— Мне нужно повидать моего дядю-путешественника, — сказал Бертран. — Ты пойдешь?

Он прошел мимо меня, и я последовала за ним. Я не знала дядю-путешественника и не испытывала ни малейшего желания его узнать. Но что-то заставляло меня идти за этим молодым человеком, глядя на его чисто выбритый затылок, соглашаться, не сопротивляясь, а тем временем в голове моей проносились обрывки мыслей, холодные и ускользающие, как маленькие рыбки. Впрочем, я чувствовала к Бертрану нежность. Мы

шли с ним по бульвару, звуки наших шагов сливались так же, как ночью сливались наши тела; он держал меня за руку; мы были такие изящные, так хорошо смотрелись, как на картинке.

Пока мы шли по бульвару и стояли на площадке автобуса, который вез нас к дяде-путешественнику, я любила Бертрана. Из-за тряски меня бросало к нему, он смеялся и обнимал меня, защищая от толчков. Я прислонилась к нему, к его плечу, к мужскому плечу, такому удобному, чтобы положить на него голову. Я вдыхала его запах, он был мне хорошо знаком, он волновал меня. Бертран был моим первым любовником. Это благодаря ему я узнала, как пахнет мое собственное тело. Так всегда, благодаря телу другого мы узнаем свое собственное, его длину, запах, сначала с недоверием, потом с признательностью.

Бертран говорил мне о своем дяде-путешественнике, которого он, видимо, не любил. Он рассказывал о его поездках так, будто это была сплошная комедия;

Бертран постоянно выискивал комедии в чужих жизнях, так что начал побаиваться, не разыгрывает ли комедию и он, сам того не замечая. Мне это казалось комичным. Его это приводило в ярость.

Дядя-путешественник ждал Бертрана на террасе кафе. Когда я заметила его, то сказала Бертрану, что он весьма недурен. Но мы уже подошли к нему, он поднялся.

— Люк, — сказал Бертран, — я пришел с подругой, это Доминика. Это мой дядя Люк-путешественник.

Я была приятно удивлена. Я подумала: «Очень даже ничего этот дядя-путешественник». У него были серые глаза, лицо усталое, пожалуй, грустное. Он был по-своему красив.

— Как прошла последняя поездка? — спросил Бертран.

— Отвратительно. В Бостоне пришлось заниматься скучнейшим делом о наследстве. Всякие заплесневелые адвокаты суют носы во все углы. Очень надоело. А что у тебя?

— У нас через два месяца экзамены, — сказал Бертран.

Слово «у нас» он подчеркнул. В этом была супружеская сторона Сорбонны: говорить об экзаменах как о грудном младенце.

Дядя повернулся ко мне:

— Вы тоже сдаете экзамены?

— Да, — сказала я неопределенно. (Моя деятельность всегда заставляла меня испытывать

некоторый стыд.)

— У меня кончились сигареты, — сказал Бертран. Он встал, и я проследила за ним взглядом. Он шел быстро, упругой походкой. Когда я порой думала, что весь этот набор мускулов, рефлексов, матовой кожи принадлежит мне, то всегда считала это удивительным подарком.

— Чем вы занимаетесь кроме экзаменов? — спросил дядя.

— Ничем, — ответила я. — Всякой ерундой. — Я вяло махнула рукой.

Он поймал мою руку на лету. Я смотрела на него озадаченная. В голове моей пронеслось: «Он мне нравится. Немного староват, и он мне нравится». Но он опустил мою руку на стол и улыбнулся:

— У вас все пальцы перепачканы чернилами. Это хороший признак. Вы успешно сдадите экзамены и будете блестящим адвокатом, хотя по вашему виду не скажешь, что вы разговорчивы.

Я засмеялась вместе с ним. Мне захотелось, чтобы он стал моим другом.

Но тут вернулся Бертран; Люк заговорил с ним. Я не вслушивалась в их разговор. Люк говорил медленно, у него были большие руки. Я подумала: «Типичный соблазнитель юных девиц моего склада». Я насторожилась. Не настолько, впро-

чем, чтобы не почувствовать легкого укола, когда он предложил нам позавтракать через день всем вместе, но уже с его женой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Два дня до этого завтрака у Люка прошли довольно скучно. Да и в самом деле, что мне было делать? Готовиться к экзамену, от которого я не ждала ничего особенного, валяться на солнце, заниматься любовью с Бертраном без особенной взаимности с моей стороны? Я, впрочем, любила его. Доверие, нежность, уважение — я не пренебрегала всем этим, мало думая о страсти. Такое отсутствие подлинных чувств казалось мне наиболее нормальным способом существования. Жить, в конце концов, значило устраиваться как-нибудь так, чтобы быть максимально довольным. Но и это не так легко.

Я жила в частном пансионе, населенном одними студентами. Хозяева отличались широким взглядом на вещи, и я спокойно могла возвращаться домой в час, в два ночи. У меня была большая, с низким потолком, комната, совершенно голая, потому что мои первоначальные планы как-то ее украсить быстро провалились. От убранства комнаты я требовала одного — чтобы оно мне не мешало. В доме царил тот самый провинциальный дух, который я так люблю. Мое

окно выходило во двор, огороженный низкой стеной, над ней кое-как примостилось небо, всегда урезанное по краям, зажатое со всех сторон небо Парижа, иногда вырывавшееся в убегающую даль над какой-нибудь улицей или балконом, волнующее и нежное.

Я вставала, ходила на лекции, встречалась с Бертраном, мы завтракали. Библиотека Сорбонны, кино, занятия, террасы кафе, друзья. По вечерам мы ходили на танцы или шли к Бертрану, лежали в постели, занимались любовью и потом долго разговаривали в темноте. Мне было хорошо, но всегда во мне, словно теплое живое существо, был этот привкус тоски, одиночества, порой возбуждения. Я говорила себе, что у меня, должно быть, просто больная печень. В пятницу, до завтрака у Люка, я зашла к Катрин и посидела у нее полчаса. Катрин была подвижна, деспотична и непрерывно влюблена. Я не столько дорожила ее дружбой, сколько ее терпела. Она считала меня существом хрупким, незащищенным, и мне это нравилось. Иногда она даже казалась мне удивительной. Мое равнодушие ко всему представлялось ей чем-то поэтичным, так же как оно долго представлялось поэтичным Бертрану, пока его не захватило желание обладать, всегда

такое требовательное.

В этот день она была влюблена в одного из своих двоюродных братьев и очень длинно рассказывала мне об этой идиллии. Я сказала ей, что иду завтракать к родственникам Бертрана, и сама вдруг заметила, что уже немного забыла Люка. И пожалела об этом. Почему я не способна рассказать Катрин такую же нескончаемую и наивную любовную историю? Она даже этому не удивлялась. Мы с ней прочно утвердились каждая в своей роли. Она рассказывала — я слушала, она советовала — тут я уже не слушала.

Встреча с Катрин выбила меня из колеи. Я отправилась к Люку без всякого энтузиазма. Даже со страхом: надо разговаривать, быть любезной, казаться веселой. Насколько приятнее было бы позавтракать одной, вертеть в руках баночку с горчицей, и чтобы не было никакой ответственности, ни малейшей, совершенно никакой.

Когда я пришла к Люку, Бертран был уже там. Он представил меня жене своего дяди. У нее было открытое, доброе, очень хорошее лицо. Крупная, немного тяжеловесная, светловолосая. В общем, красивая, но не вызывающая. Я подумала — она из тех женщин, которых многие мужчины хотели бы иметь рядом с собой, женщин, умеющих да-

вать счастье, словом, ласковых, мягких. Ласкова ли я? Надо будет спросить у Бертрана. Конечно, я брала его за руку, не кричала на него, перебирала его волосы. Но ведь я вообще терпеть не могла кричать, а моим рукам нравилось ласкать его волосы, теплые и густые, как мех какого-то животного. Франсуаза с самого начала отнеслась ко мне очень мило. Показала мне квартиру — отлично обставленную, наполнила мне рюмку, усадила в кресло, заботливо и непринужденно. Неловкость, которую я чувствовала из-за своей немного поношенной юбки и обвисшего свитера, почти прошла. Ждали Люка, он был на работе. Я подумала, не надо ли мне проявить хоть какой-нибудь интерес к профессии Люка, чего, вообще говоря, я никогда не делала. Мне хотелось спрашивать у людей: «Вы влюблены? Что вы читаете?», но никогда меня не трогала их профессия — часто, с их точки зрения, вопрос первостепенный.

— У вас грустный вид, — заметила Франсуаза, улыбаясь. — Налить вам еще виски?

— Спасибо.

— У Доминики уже репутация пьяницы, — сказал Бертран. — И знаете почему?

Он вдруг встал и подошел ко мне с серьезным видом:

— Верхняя губа у нее коротковата: когда она пьет, прикрыв глаза, на лице появляется проникновенное выражение, не имеющее отношения к виски.

Говоря, он держал мою верхнюю губу между большим и указательным пальцами. Он демонстрировал меня Франсуазе, как молодую охотничью собаку. Я засмеялась, и он меня отпустил.

Вошел Люк.

Когда я увидела его, я еще раз подумала, и на этот раз с некоторой болью, что он очень красив. Его красота действительно причиняла мне боль, как любая вещь, которой я не могла обладать. Мне редко хотелось чем-нибудь обладать, но тут я сразу поймала себя на мысли, что мне хочется взять это лицо в руки, неистово сжать пальцами, прижаться губами к этим крупным, немного удлиненным губам. А ведь красив он все-таки не был. Потом мне это часто говорили. И несмотря на это, хотя я видела это лицо всего два раза, было в нем что-то, что сделало его для меня в тысячу раз менее чужим, в тысячу раз более желанным, чем лицо Бертрана, который мне как-никак нравился. Он вошел, поздоровался, сел. Он умел сохранять удивительную неподвижность. Я хочу

сказать, в медлительности его жестов было что-то напряженное, сдержанное, он как бы забывал о своем теле, и это даже тревожило. Он с нежностью смотрел на Франсуазу. Я смотрела на него. Я не помню, о чем мы говорили. Особенно много говорили Бертран и Франсуаза. Надо сказать, я не могу без ужаса вспоминать всю эту преамбулу. В тот момент было достаточно проявить хоть немного осторожности, замкнуться — и я бы ускользнула от него. Зато мне не терпится дойти до того первого раза, когда я была счастлива с ним. Одна мысль, что я опишу эти первые мгновения, вдохну на минуту жизнь в слова, наполняет меня радостью, горькой и нетерпеливой.

И вот завтрак с Люком и Франсуазой кончился. Потом, на улице, я сразу же приноровилась к быстрым шагам Люка — как ходит Бертран, я забыла. Когда мы переходили улицу. Люк взял меня за локоть. Помню, меня это стесняло. Я не ощущала ни своего предплечья, ни кисти, вяло повисшей вдоль тела, как будто там, где не было руки Люка, моя рука омертвела. Я не могла вспомнить, как же это я ходила с Бертраном. Потом они с Франсуазой отвели меня к портному и купили мне красное драповое пальто, а я была в таком оцепенении, что не смогла ни отказаться, ни

даже поблагодарить их. Уже тогда в присутствии Люка все происходило очень быстро, развивалось стремительно. Потом время снова обрушилось как удар, снова появились минуты, часы, выкуренные сигареты.

Бертрана очень разозлило, что я приняла это пальто. Когда мы остались одни, он устроил мне настоящую сцену:

— Это совершенно невероятно! Неизвестно кто предложит тебе неизвестно что, и ты не откажешься! Более того, даже не удивишься!

— Это не неизвестно кто. Это твой дядя, — выкручивалась я. — В любом случае я не смогла бы купить это пальто сама: оно ужасно дорогое.

— Ты могла бы обойтись и без него, я полагаю. За два часа я успела привыкнуть к новому пальто-оно мне удивительно шло — и эта последняя фраза меня немного задела. В моих рассуждениях была все-таки некоторая логика, ускользавшая от Бертрана. Я сказала ему об этом, мы стали спорить. В заключение он привел меня к себе без обеда, в виде наказания. Наказанием это было для него, я знала, что час обеда — самый важный, самый почитаемый им час суток. Он лежал рядом со мной и целовал меня с осторожностью и трепетом, это трогало меня и пугало. Мне больше

нравилось веселое бесстыдство первой поры нашей связи, молодые, по-животному непосредственные объятия. Но когда я почувствовала его всего, когда он стал нетерпеливо искать меня, я забыла нынешнего Бертрана и наше взаимное недовольство. Со мной был прежний Бертран, и это ожидание, и это наслаждение.

И сейчас, именно сейчас, счастье, физическое самозабвение кажутся мне невероятным подарком и поэтому особенной насмешкой представляется необходимость признать это главным, несмотря на все мои былые выводы и ощущения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы еще несколько раз обедали вчетвером или с приятелями Люка. Потом Франсуаза уехала на десять дней к своим друзьям. Я уже полюбила ее; она была необыкновенно внимательна к людям, очень добра, в ее доброте чувствовалась большая твердость, а порой боязнь чего-то в людях не понять, и это нравилось мне больше всего. Франсуаза была как земля, надежная как земля, а иногда ребячливая. Они с Люком часто смеялись вместе.

Мы провожали ее с Лионского вокзала. Я уже была не такой робкой, как вначале, напротив — почти раскованной: словом, я повеселела, потому что исчезновение вечной моей тоски, которой я все еще не решаюсь дать название, внесло приятную нотку в мой характер. Я стала живой, иногда озорной; мне казалось, что такое положение вещей может продолжаться бесконечно. Я привыкла видеть Люка, а внезапное волнение, охватывавшее меня при встрече с ним, приписывала эстетическим причинам или привязанности. У вагона Франсуаза улыбнулась:

— Я вам его доверяю, — сказала она нам. Поезд

отошел. Когда мы возвращались, Бертран отстал, чтобы купить уж не знаю какой литературно-политический журнал, что-то его там возмутило. Люк вдруг повернулся ко мне и очень быстро сказал:

— Пообедаем завтра вместе?

Я начала ему говорить: «Хорошо, я спрошу у Бертрана», — но он меня перебил: «Я вам позвоню». — И повернулся к Бертрану, в этот момент нас догнавшему:

— Что за журнал тебе понадобился?

— Я его не нашел. У нас сейчас лекция, Доминика. Надо торопиться.

Он взял меня под руку. Я была в его власти. Они с Люком смотрели друг на друга с недоверием. Я растерялась. Франсуаза уехала, и все стало тревожным и неприятным. Я без всякого удовольствия вспоминаю это первое проявление внимания ко мне Люка, потому что, как уже говорила, нацепила на себя превосходные шоры. Я отчаянно хотела возвращения Франсуазы, которая была для нас оплотом. Я понимала, что наш квартет держится на фальшивой основе, и это огорчало меня; как все, кому ничего не стоит солгать, я была чувствительна к окружающей обстановке и вполне искренна, играя в ней свою

роль.

— Я вас отвезу, — бросил Люк.

У него была открытая, быстрая машина, он хорошо ее водил. По дороге никто из нас не проронил ни слова, только «до скорого», когда расставались.

— В общем, я рад, что она уехала, — сказал Бертран. — Невозможно постоянно видеть одних и тех же людей.

Эта фраза исключала Люка из наших планов, но я ничего не сказала Бертрану. Я становилась осторожной.

— И потом, — продолжал Бертран, — все-таки они немного староваты, правда?

Я не ответила, и мы отправились на лекцию Брема об эпикурейской морали. Я слушала ее некоторое время, не шевелясь. Люк хотел пообедать со мной вдвоем. Это было похоже на счастье. Я водила пальцами по скамье, чувствовала на лице невольную улыбку. Пришлось отвернуться, чтобы ее не увидел Бертран. Это длилось минуту, не больше. Потом я сказала себе: «Тебе польстило его приглашение, это вполне естественно». Сжигать за собой мосты, отрезать себе все пути, не поддаваться — у меня всегда была хорошая ответная реакция молодости.

На следующий день я решила, что мой обед с Люком должен быть занятным и без последствий. Я представляла себе, как он появится и с пламенным видом сделает мне признание. Он приехал, немного опоздав, был рассеян, я же испытывала единственное желание — чтобы он обнаружил хоть какое-нибудь волнение от нашего тет-а-тет. Но никакого волнения не было, он говорил о разных вещах так спокойно и с такой непринужденностью, что в конце концов и я переняла его тон. Вероятно, это был единственный человек, с которым мне было уютно и совершенно не скучно. Потом он предложил мне пообедать и повез меня в «Сонни». Там он встретил друзей, они присоединились к нам, и я мысленно обозвала себя тщеславной дурочкой-с чего я, собственно, взяла, что ему хочется остаться со мной наедине?

К тому же, глядя на женщин за нашим столиком, я отметила, что во мне нет ни элегантности, ни блеска. Короче говоря, от роковой молодой девушки, какой я казалась себе весь день, к полуночи осталась жалкая, упавшая духом личность, стесняющаяся своего платья и взывающая про себя к Бертрану, которому она кажется красавицей.

Приятели Люка говорили о содовой воде, о

ее благотворном действии на следующий день после попойки. Все эти существа употребляли содовую воду, а по утрам тщательно занимались собой, будто собственное тело-это прелестная игрушка, оно служит предметом удовольствия и неустанных забот. Может быть, мне нужно забросить книги, разговоры, прогулки пешком и броситься в море дорогих развлечений, в суету сует и другие затягивающие занятия того же рода? Иметь средства и стать красивой вещью. Эти люди, нравятся ли они Люку?

Он, улыбаясь, повернулся ко мне и пригласил танцевать. Он обнял меня, осторожно прижал к себе, моя голова оказалась возле его подбородка. Мы стали танцевать. Я чувствовала его тело.

— Вам скучно с этими людьми, правда? — сказал он. — Женщины слишком много щебечут.

— Я ни разу не была в настоящем ночном кабачке. И сейчас просто потрясена. Он засмеялся.

— А вы забавны, Доминика. И очень мне нравитесь. Давайте еще поговорим, пойдемте.

И мы ушли. Люк повел меня в бар на улице Марбеф, там мы начали размеренно пить. Мне нравилось виски, а кроме того, я знала, что для меня это единственный способ хоть немного разговориться. Очень скоро Люк стал казаться

мне приятным, обольстительным и совсем не страшным. Я даже испытывала к нему какую-то расслабленную нежность.

Разумеется, мы заговорили о любви. Он сказал, что это прекрасная вещь, не такая уж необходимая, как утверждают, но для полного счастья нужно быть любимым и горячо любить самому. Я только кивала в ответ. Он сказал, что очень счастлив, потому что любит Франсуазу, а она любит его. Я поздравила его, уверяя, что меня это ничуть не удивляет, потому что оба они — он и Франсуаза — люди очень, очень хорошие. Меня захлестнуло умиление.

— Поэтому, — сказал Люк, — если бы у нас с вами получился роман, я был бы по-настоящему рад.

Я глупо засмеялась. У меня уже не осталось способности реагировать.

— А Франсуаза? — спросила я.

— Франсуаза… Я, может быть, скажу ей об этом. Знаете, вы ей очень нравитесь.

— Вот именно, — сказала я. — И потом, не знаю, наверное, такие вещи не рассказывают…

Я негодовала. Непрерывные переходы из одного состояния в другое в конце концов вымотали меня. Мне казалось одновременно и абсолютно

естественным, и абсолютно неприличным, что Люк предлагает мне лечь с ним в постель.

— Во всяком случае, , что-то есть, — сказал Люк серьезно. — Я хочу сказать: между нами. Видит Бог, я вообще не люблю молоденьких девочек. Но мы с вами похожи. Я думаю, это было бы не так уж глупо и не банально. А это редко случается. Так что подумайте.

— Ну что ж, — сказала я. — Подумаю. Должно быть, у меня был жалкий вид. Люк наклонился ко мне и поцеловал в щеку.

— Бедная вы моя девочка, — сказал он. — Ну как вас не пожалеть. Если бы вы имели хоть какое-нибудь понятие об элементарной морали. Но у вас его не больше, чем у меня. И вы благородны. И любите Франсуазу. И меньше скучаете со мной, чем с Бертраном. Да! Ну и дела!

Он засмеялся. Я была задета. Я и потом всегда чувствовала себя более или менее уязвленной, когда Люк начинал, по его выражению, подводить итоги. В тот раз он это заметил.

— Все это пустяки, — сказал он. — В таких вещах все это действительно не важно. Вы мне очень нравитесь. Ты мне очень нравишься. Нам будет весело вместе. Весело — и только.

— Я вас ненавижу, — сказала я замогильным

голосом.

Мы оба засмеялись. Это согласие, достигнутое в течение трех минут, показалось мне подозрительным.

— А сейчас я тебя отвезу, — сказал Люк. — Уже поздно. Или, если хочешь, поедем на набережную Берси, посмотрим восход солнца.

Мы доехали до набережной Берси. Люк остановил машину. Небо над Сеной, застывшей среди подъемных кранов, как грустный ребенок среди игрушек, было совсем белым. Совсем белым и серым одновременно: оно поднималось навстречу дню над безжизненными домами, мостами, над этим скопищем железа, медленно, упорно, в своем ежеутреннем усилии. Люк молча курил, стоя около меня, лицо его было неподвижно. Я протянула ему руку, он взял ее в свою, и мы тихо возвратились к моему пансионату. Около дверей он выпустил мою руку, я вышла из машины, и мы улыбнулись друг другу. Я рухнула на постель, подумала, что надо бы раздеться, постирать чулки, повесить платье на вешалку, и тут же заснула.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я проснулась с тягостным ощущением необходимости прийти к какому-то решению. Люк предлагал мне игру, соблазнительную, но тем не менее способную разрушить мое чувство к Бертрану и еще какое-то неясное ощущение во мне, неясное, но все-таки достаточно острое и противостоящее, как бы там ни было, кратковременности. По крайней мере, той непринужденной кратковременности, которую предлагал мне Люк. И потом, если любая страсть, даже связь, и представлялась мне преходящей, принять это как изначальную необходимость я не могла. Подобно всем людям, живущим среди каких-то полукомедий, я выносила только те, что ставила сама и сама смотрела.

К тому же я хорошо понимала — такая игра опасна, если вообще это было игрой, если возможна игра между двумя людьми, которые действительно нравятся друг другу и хотят заполнить друг другом свое одиночество, пусть даже временно. Глупо было считать себя более сильной, чем я была на самом деле. С того дня, когда Люк, как говорила Франсуаза, «приручил» меня,

признал и полностью принял, я уже не смогла бы расстаться с ним без боли. Бертран был способен только на одно — любить меня. Я говорила себе это и чувствовала нежность к Бертрану, но о Люке думала без всякой сдержанности. Потому что, по крайней мере пока ты молод, — в этом долгом обмане, называемом жизнью, ничто не кажется таким отчаянно желанным, как опрометчивый шаг. Наконец, я никогда сама ничего не решала. Меня всегда выбирали. Почему не позволить сделать это еще раз? Будет Люк со своим обаянием, будет повседневная скука, вечера. Все случится само собой, и не стоит даже пытаться что-то понять.

И вот, охваченная блаженной покорностью, я отдалась течению. Я снова встречалась с Бертраном, с друзьями: мы вместе шли завтракать на улицу Кюжа, и все это, в общем такое обычное, казалось мне неестественным. Мое настоящее место было рядом с Люком. Я смутно чувствовала это, а между тем Жан-Жак, один из приятелей Бертрана, заметил с иронией, намекая на мой мечтательный вид:

— Это немыслимо, Доминика, ты явно влюблена! Бертран, в кого ты превратил эту рассеянную девушку? В принцессу Клевскую!

— Я тут ни при чем, — сказал Бертран. Я посмотрела на него. Он покраснел и отвел от меня взгляд. Это и впрямь было невероятно: мой соучастник, мой спутник в течение целого года, разом превратился в противника! Я невольно сделала движение в его сторону. Мне хотелось сказать: «Бертран, послушай, ты не должен страдать, мне было бы жаль, я этого не хочу». Я могла бы даже глупо добавить:

«Вспомни, наконец, лето, зиму, твою комнату, все, что невозможно уничтожить за три недели, это неразумно». И мне хотелось, чтобы он яростно подтвердил мои слова, успокоил меня, вновь меня обрел. Потому что он любил меня. Но он не был мужчиной. В некоторых мужчинах, в Люке, была какая-то сила, которой ни Бертран и ни один из этих молодых людей не обладали. И дело тут не в опыте…

— Отстаньте от Доминики, — сказала Катрин властно, как всегда. — Брось, Доминика, мужчины — такие грубияны, пойдем, выпьем кофе.

Когда мы вышли, она объяснила мне, что все это ерунда, что в душе Бертран очень ко мне привязан и что не нужно расстраиваться из-за приступа плохого настроения. Я не возражала. В конце концов, лучше, если Бертран не будет

унижен в глазах общих друзей. Меня тошнило от их вечных разговоров, от всех этих мальчишеских и девчоночьих историй, от их драм. Но был Бертран, он страдал, и это уже был не пустяк. Как все быстро происходит! Не успела я порвать с Бертраном, как они уже обсуждают это, ищут объяснений, и я, в раздражении, готова обострить и усложнить то, что могло бы быть всего-навсего мимолетной растерянностью.

— Ты не понимаешь, — сказала я Катрин. — Не в Бертране дело.

— А!.. — вырвалось у нее.

Я обернулся к ней и увидела на ее лице выражение такого любопытства, такого страстного желания давать советы и такой кровожадности, что даже рассмеялась.

— Я собираюсь уйти в монастырь, — сказала я серьезно.

Тогда Катрин, не особенно удивившись, пустилась в длинную дискуссию о радостях жизни, о маленьких птичках, солнышке и т. д. "Вот что я оставлю из-за сущего безумия! " Потом она заговорила о плотских наслаждениях и, понизив голос, зашептала: «Нужно прямо сказать, это тоже кое-чего стоит». Короче говоря, если бы я действительно подумывала об уходе в мона-

стырь, она своими описаниями радостей жизни ввергла бы меня в религиозный экстаз. Я тут же распрощалась с ней не без радости. «Катрин мы тоже упраздним, — подумала я весело. — Катрин и ее самоотверженность». Я даже начала тихонько напевать от ярости.

Я погуляла часок, зашла в шесть магазинчиков, без стеснения вступала со всеми в разговор. Я чувствовала себя такой свободной, такой веселой. Париж принадлежал мне. Париж принадлежит людям раскованным, непринужденным, я всегда это чувствовала, но с болью — я этими качествами не обладала. На этот раз он был мой, мой прекрасный город, золотистый и пронзительный, такой, «что даже выдумать невозможно». Я шла, окрыленная чем-то, должно быть радостью. Я шла быстро. Меня мучило нетерпение, кровь пульсировала в жилах; я чувствовала себя юной, юной до смешного. В эти минуты безумного счастья мне показалось, что я обрела истину куда более очевидную, чем те маленькие и жалкие, которые я без конца пережевывала, когда мне было грустно.

Я зашла в кино на Елисейских полях, где шли старые фильмы. Какой-то молодой человек сел рядом со мной. Украдкой взглянув на него, я уви-

дела, что он приятен, только слишком белокур. Скоро он пристроил свой локоть рядом с моим и осторожно подвинул руку к моему колену: я перехватила его руку на лету и сжала в своей. Мне хотелось смеяться, смеяться, как школьнице. Отвратительная теснота темных залов, прижимания украдкой, стыд — что все это значило? В моей руке горячая рука незнакомого молодого человека, он для меня ничто, мне хотелось только смеяться. Он повернул свою руку в моей, медленно подвинул колено. Я смотрела на его действия с любопытством и страхом, но поощрительно. Как и он, я боялась, что во мне проснется чувство собственного достоинства, я превращалась в старую даму, которая поднимается со своего кресла, потому что ей все это уже надоело. Сердце мое немного заколотилось: от волнения или от фильма? Фильм, кстати, был хороший. Следовало бы устроить кинотеатр, где шли бы пустяковые фильмы для тех, кому не с кем поразвлечься. Молодой человек вопросительно взглянул на меня и, поскольку это был шведский фильм на светлой пленке, я убедилась что он в самом деле довольно красив. «Довольно красив, но не в моем вкусе», — подумала я в то время, как он осторожно приближал свое лицо к моему. Я на секунду

вспомнила о людях, сидящих позади нас — они, вероятно, думали, что…

Я шла по Елисейским полям, ощущая вкус незнакомых губ, потом решила вернуться домой и почитать новый роман.

Это была замечательная книга Сартра «Время разума». Я с радостью накинулась на нее. Я была молода, один мужчина мне нравился, другой меня любил. Мне предстояло решить одну из глупых, маленьких девичьих проблем; я раздувалась от гордости. Мужчина даже был женат, и, значит, существовала другая женщина, и мы разыгрывали наш квартет, запутавшись в парижской весне. Из всего этого я составила прекрасное, четкое уравнение, циничное, лучше некуда. К тому же я поразительно хорошо чувствовала себя в своей шкуре. Я принимала и грусть, и нерешенные проблемы, и будущие удовольствия, я заранее принимала все с насмешкой.

Я читала. Наступил вечер. Положила книгу; облокотившись на руку, глядела на небо, которое из сиреневого становилось серым. Я вдруг почувствовала себя слабой и незащищенной. Моя жизнь проходила, я ничего не делала, я насмешничала. Хоть кто-нибудь был бы рядом со мной, кого я буду беречь, кого я прижму к себе с мучи-

тельной, безудержной силой любви. Я была не настолько цинична, чтобы завидовать Бертрану, но мне было достаточно грустно, чтобы завидовать любой счастливой любви, каждой встрече, от которой теряют голову, всякому любовному рабству.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В последующие две недели я несколько раз встречалась с Люком. И всегда с его друзьями. Это были в основном путешествующие люди с приятной внешностью и рассказами о своих поездках. Люк говорил быстро, с юмором, был ко мне внимателен, сохраняя непринужденный и рассеянный вид одновременно, и это постоянно заставляло меня сомневаться в том, что я ему действительно интересна. Он сразу же подвозил меня к дому, выходил из машины и перед уходом легонько касался губами моей щеки. Он больше не заговаривал о своем желании обладать мной, и от этого я чувствовала и облегчение, и разочарование. Наконец он сказал, что Франсуаза возвращается послезавтра, и мне стало ясно, что эти две недели прошли как во сне, и что все мои размышления были ни к чему.

Утром мы отправились на вокзал встречать Франсуазу, без Бертрана — он был сердит на меня вот уже десять дней. Я жалела об этом, но одиночество не мешало мне жить праздно и беспечно, и мне это нравилось. Я знала, ему очень тяжело не видеть меня — от этого мне было не по себе.

Франсуаза приехала улыбающаяся, поцеловала нас, сказала, что мы плохо выглядим, но это скоро пройдет: мы приглашены на уик-энд к сестре Люка, той, что доводилась Бертрану матерью. Я запротестовала, ссылаясь на то, что я не приглашена и что мы с Бертраном немного поссорились. Люк добавил, что сестра его раздражает. Франсуаза все устроила: Бертран попросит свою мать, чтобы она меня пригласила. «Исключительно для того, — сказала Франсуаза, улыбаясь, — чтобы прекратить эту ссору». Что же касается Люка, ему полезно время от времени проникаться духом семьи.

Она смотрела на меня улыбаясь, и я тоже улыбнулась ей, растерявшись от ее приветливости. Она пополнела. Пожалуй, она была немного грузной, но от нее исходили тепло и доверчивость, и я обрадовалась, что между мной и Люком ничего не произошло и что нам снова может быть хорошо, как раньше — всем троим вместе. Я вернусь к Бертрану, с ним, в сущности, не так уж скучно, он прекрасно образован и умен. Мы были очень благоразумны — Люк и я. Но сидя в машине между ним и Франсуазой, я посмотрела на него в какой-то момент как на человека, от которого отказалась, и это причинило мне странную боль,

мимолетную, но очень ощутимую.

Прекрасным вечером мы покинули Париж и поехали к матери Бертрана. Я знала, что муж оставил ей очень красивый загородный дом, и мысль поехать куда-то на уик-энд удовлетворяла во мне некоторый, ну, скажем, снобизм-до сих пор у меня не было случая в нем поупражняться. Бертран говорил мне, что его мать очень приятный человек. При этом он напустил на себя рассеянный вид: так делают все молодые люди, рассказывая о своих родителях, чтобы как можно яснее показать, насколько далека от всего этого их собственная настоящая жизнь. Я потратилась на полотняные брюки, у Катрин такие были, но слишком широкие для меня. Это приобретение несколько подорвало мой бюджет, но я знала, что Люк и Франсуаза

позаботятся обо мне, если это будет необходимо. Я сама удивлялась легкости, с какой принимала их помощь, но как всякий человек, умеющий ладить с собственной совестью, по крайней мере в мелочах, я приписывала эту легкость скорее деликатности, с которой они проявляли свое великодушие, чем отсутствию у меня таковой. Куда более разумно все-таки наделять какими-то качествами других, чем признавать свои недостатки.

Люк и Франсуаза заехали за нами в кафе на бульваре Сен-Мишель. Люк снова выглядел усталым и немного грустным. Он очень быстро вел по шоссе машину, даже рискованно. От страха Бертрана разбирал смех, я немедленно присоединилась к нему и Франсуаза, услышав, что мы смеемся, обернулась. У нее был растерянный вид, свойственный мягким людям, неспособным протестовать, даже когда речь идет об их жизни.

— Почему вы смеетесь?

— Они молоды, — сказал Люк. — В двадцать лет еще можно позволить себе беспричинный смех.

Не знаю почему, мне не понравилась эта фраза. Я не любила, когда Люк обращался со мной и Бертраном как с парой, тем более как с парой детей.

— Это на нервной почве, — сказала я. — Вы едете очень быстро, тут уж не до примерного поведения.

— Поедешь со мной, — сказал Люк, — я научу тебя водить.

Он впервые сказал мне «ты» на людях. Это можно расценить как промах, подумала я. Франсуаза взглянула на Люка. Мысль о промахе рассмешила меня Я не верила в разоблачающие оплошности, перехваченные взгляды, поразительные предчувствия. В романах мне попадались фразы

вроде: «И вдруг она поняла, что он обманывает ее», — это меня всегда удивляло.

Мы приехали. Люк резко развернулся на узкой дороге, и меня бросило к Бертрану. Он прижал меня к себе, сильно и нежно, меня это очень смутило. Было невыносимо, что Люк это видел. Это показалось мне неприличным и, что уж совсем глупо, невежливым по отношению к нему.

— Вы похожи на птичку, — сказала мне Франсуаза.

Она обернулась и смотрела на нас. У нее был действительно добрый взгляд, в нем чувствовалось расположение. В ней не было этакого превосходства зрелой женщины перед парой подростков. По-видимому, она просто хотела сказать, что мне очень хорошо в объятиях Бертрана, что я очень трогательна. Мне, разумеется, нравилось выглядеть трогательной, это часто избавляло меня от необходимости размышлять, обдумывать, отвечать.

— На старую птичку, — сказала я. — Я чувствую себя старой.

— Я тоже, — сказала Франсуаза. — Но это легче объяснить.

Люк, улыбаясь, обернулся к ней. Я вдруг подумала: «Они приятны друг другу; и они наверняка

еще спят вместе. Он спит рядом с ней, ложится рядом, любит ее. Думает ли он о том, что Бертран обладает мной? Представляет ли себе это? И чувствует ли, как я, думая о нем, смутную ревность?»

— Вот мы и дома, — сказал Бертран. — Еще одна машина; боюсь, нет ли тут кого из обычных гостей матери.

— В этом случае мы уезжаем, — ответил Люк. — Меня в ужас приводят гости моей дорогой сестры. Я знаю прелестную гостиницу в двух шагах отсюда.

— Посмотрим, — сказала Франсуаза, — хватит плохого настроения. Это прекрасный дом, и Доминика его еще не видела. Идемте, Доминика.

Она взяла меня за руку и повела к довольно красивому дому, окруженному лужайками. Я подчинилась, думая про себя, что не хватало мне еще сделать ей гадость — обмануть Франсуазу с ее мужем — и что я ее все-таки очень люблю, я бы предпочла не знаю что сделать, лишь бы не причинять ей боль. Она всего этого, конечно, не знала.

— Ну вот и вы, наконец, — послышался резкий голос.

За оградой появилась мать Бертрана. Я нико-

гда раньше не видела ее. Она бросила на меня испытующий

взгляд, каким матери молодых людей всегда одаривают представленных им девушек. Мне она показалась прежде всего белокурой и немного крикливой. Она тут же начала суетиться вокруг нас; скоро я почувствовала усталость. Люк смотрел на нее как на несчастье. Бертран выглядел немного смущенным, таким он мне нравился. Наконец я с облегчением оказалась в своей комнате. Кровать была очень высокой, с простынями из голубого полотна, у меня в детстве была такая. Я открыла окно, за которым шумели зеленые деревья, и сильный запах мокрой земли и травы наполнил комнату.

— Тебе тут нравится? — спросил Бертран. Вид у него был растерянный и вместе с тем довольный. Я подумала, что для него этот уик-энд со мной в доме матери нечто весьма важное и сложное. Я улыбнулась ему.

— У тебя очень красивый дом. Что же касается твоей матери, я не знаю ее, но она производит приятное впечатление.

— Словом, тебе тут не так уж плохо. Кстати, я в комнате рядом.

Мы обменялись понимающими улыбками. Мне

очень нравились незнакомые дома, ванные с черно-белым кафелем, большие окна, сильные молодые мужчины. Бертран прижал меня к себе, нежно поцеловал. Его дыхание, манера целоваться — все было мне знакомо. Я не говорила ему о молодом человеке в кино. Ему это было бы неприятно. Мне самой теперь было неприятно. Немного стыдно было вспоминать об этом, как-то смешно и неловко, в общем, довольно противно. В тот день после обеда я чувствовала себя веселой и свободной; больше я такой не была.

— Пойдем обедать, — сказала я Бертрану, который наклонился ко мне, чтобы поцеловать еще раз. Мне нравилось, когда он меня хотел. Зато я не очень нравилась самой себе. Стиль юной холодной дикарки — «Мои зубы белей, чем снег, мое сердце черней, чем ночь» — казался мне пригодным лишь для развлечения пожилых джентльменов. Обед был смертельно скучным. Там действительно были друзья матери Бертрана: болтливая супружеская пара. За десертом муж — звали его Ришаром, и был он президентом уж не знаю какого административного совета — не удержался, чтобы не начать классическую тему:

— Вот вы, девушка, тоже небось из этих несчастных экзистенциалисток? Нет, в самом деле,

Марта, дорогая, — теперь он обращался к матери Бертрана, — не понимаю я этих разочарованных молодых людей. В их возрасте, черт побери, надо любить жизнь! В мое время мы не так уж часто балаганили, но, ей-Богу, нам было весело!

Его жена и мать Бертрана засмеялись в знак согласия. Люк зевал, Бертран готовил никому не нужную речь. Франсуаза со своим обычным доброжелательством пыталась понять, почему же эти люди так скучны. Что же касается меня, уже в десятый раз я слушала, как порозовевшие и подвыпившие мсье, будучи в прекрасном расположении духа, мямлят с наслаждением тем большим, чем меньше они понимают смысл, слово «эксистенциализм». Я не ответила.

— Мой дорогой Ришар, — сказал Люк, — боюсь, что балаганить только и можно в вашем возрасте, я хотел сказать — в нашем возрасте. Эти молодые люди занимаются не балаганами, а любовью. Это же хорошо. Для постоянного балагана нужны контора, письмоводитель…

Конец обеда прошел благополучно, все более или менее разговаривали, кроме Люка и меня; он единственный скучал так же сильно, как я, и я спросила себя, не назвать ли нашим первым тайным сговором эту одинаковую неспособность

выносить скуку.

После обеда мы пошли на террасу, поскольку погода была прекрасная; Бертран отправился поискать виски. Люк вполголоса посоветовал мне не пить слишком много:

— Я в любом случае держу себя нормально, — ответила я обиженно.

— Я буду ревновать. Я хочу, чтобы ты напивалась и говорила глупости только со мной.

— А в остальное время что мне делать?

— Грустное лицо, как за обедом.

— А вы, — сказала я, — думаете, у вас было очень веселое лицо?.. Непохоже, что вы принадлежите к этому прекрасному поколению, несмотря на ваши слова.

Он засмеялся.

— Пойдем погуляем по саду.

— В темноте? А Бертран, а остальные…

Я совсем растерялась.

Он взял меня за руку и обернулся к остальным. Бертрана, ушедшего за виски, еще не было. Я смутно представила себе, что, вернувшись, он пойдет пас искать, обнаружит под каким-нибудь деревом и, может быть, убьет Люка, как в «Пелеасе и Мелисанде».

— Я увожу эту юную девушку на сентимен-

тальную прогулку, — обратился он к присутствующим. Не оборачиваясь, я услышала смех Франсуазы. Он повел меня по аллее, вначале казавшейся светлой от гравия, а затем исчезающей в темноте. Мне вдруг стало очень страшно. Оказаться бы сейчас в доме моих родителей на берегу Ионны.

— Я боюсь, — сказала я Люку.

Он не засмеялся и взял меня за руку. Мне захотелось, чтобы он всегда был такой: молчаливый, в меру серьезный, надежный и ласковый. Чтобы он никогда меня не оставлял, говорил мне, что любит, берег бы, обнимал. Он остановился, обнял меня. Я прижалась к его пиджаку, закрыла глаза. Все последние дни были просто попыткой укрыться от этой минуты; от этих рук, приподнявших мое лицо, от губ, горячих и нежных, словно созданных для моих. Он охватил ладонью мое лицо и крепко сжал его, целуя меня. Я обняла его за шею. Я боялась себя, его, всего, чего тогда не случилось.

Я сразу же отчаянно полюбила его губы. Он не говорил ни слова, только целовал меня, иногда приподнимая голову, чтобы перевести дыхание. Я видела тогда в сумерках его лицо, и рассеянное и сосредоточенное, похожее на маску. Потом он

снова очень медленно наклонялся ко мне. Скоро я перестала различать его лицо, я закрыла глаза, отдаваясь теплу, заполнявшему виски, веки, гортань. Не поспешность, не нетерпение желания, но что-то новое, чего я не знала раньше, поднималось во мне — прекрасное, неторопливое и волнующее.

Люк отстранился от меня, и я немного пошатнулась. Он взял меня за руку, и мы молча погуляли по саду. Я говорила себе — пусть бы он целовал меня до рассвета, целовал и больше ничего. Бертран быстро прекращал поцелуи: желание делало их бесполезными в его глазах; они были не более чем переход к удовольствию. Люк же заставил меня понять, что они могут быть неисчерпаемыми, несущими наслаждение сами по себе.

— У тебя великолепный сад, — улыбаясь, сказал Люк своей сестре. — Жаль, уже поздновато.

— Никогда не бывает слишком поздно, — сухо ответил Бертран.

Он внимательно смотрел на меня. Я отвела глаза. Единственное, чего я хотела — остаться одной в темноте своей комнаты, чтобы вспомнить и понять те минуты в парке. Во время общего разговора я как бы отложила их в сторону, но меня все равно что не было; потом, с этим воспоминанием

я поднялась в свою комнату. Лежа на постели с открытыми глазами, я долго, снова и снова переживала происшедшее, чтобы уничтожить его совсем или найти нечто главное. В этот вечер я заперла дверь, но Бертран не постучался.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утро тянулось медленно. Просыпаться было приятно и сладко, как в детстве. Но этот день не был одним из длинных, унылых, одиноких дней, прерываемых лекциями, которые обычно меня ждали: он был «другой» — из тех, когда мне нужно было играть свою роль и нести за нее ответственность. Эта ответственность, эта необходимость действовать вначале так придавила меня, что я снова и снова зарывалась в подушку, чувствуя себя больной. Потом вспомнила о вчерашнем вечере, о поцелуях Люка, и что-то теплое, щемящее раскрылось во мне.

Ванная комната была изумительной. И вот, сидя в воде, я принялась бодро напевать в ритме джаза: «А теперь час пришел, час пришел — окончательно решить, мне решить». Кто-то с силой постучал в перегородку.

— Можно дать поспать порядочным людям?

Голос был веселый, голос Люка. Родись я на десять лет раньше, до Франсуазы, — мы могли бы жить вместе, и по утрам он бы шутливо мешал мне петь, и мы могли бы спать вместе, и были бы счастливы долго-долго, вместо того чтобы

оказаться, как сейчас, в тупике. Это был действительно тупик, и, может быть, поэтому-то мы в него и не углублялись, изображая при этом безразличие. Надо было избегать Люка, уехать.

Я вышла из ванной.

Но найдя мягкий, пушистый пеньюар, отдававший немного старыми шкафами загородных домов, и закутавшись в него, я сказала себе, что, следуя здравому смыслу, нужно пустить все на самотек, не анализировать без конца, а быть спокойной и смелой. Я мурлыкала себе это под нос, не очень веря в свои слова.

Я примерила полотняные брюки, купленные перед отъездом, и посмотрелась в зеркало. Я не понравилась себе: острые черты лица, неудачная прическа, любезный вид. Мне нравились правильные лица, обрамленные косами, — такие бывают у молодых девушек с печальными глазами, заставляющими мужчин страдать, лица строгие и вместе с тем чувственные. Если откинуть голову немного назад, вид у меня, пожалуй, был сладострастный, но какая женщина в такой позе выглядит иначе? Кроме того, брюки были просто смешны, они были слишком узкие. Ни за что на свете я не спущусь вниз в таком виде. Эти приступы отчаяния были мне хорошо знакомы;

мой собственный вид до того меня раздражал, что теперь уже целый день у меня будет отвратительное настроение, если я все-таки решусь выйти к столу.

Но вошла Франсуаза и все уладила.

— Моя маленькая Доминика, вы сегодня очаровательны. Такая юная, яркая. Вы просто живой упрек мне.

Она присела на край постели и посмотрела на себя в зеркало.

— Почему упрек?

Она ответила, не глядя на меня.

— Ем слишком много пирожных под предлогом, что люблю их. И к тому же эти морщины, вот здесь.

У нее были довольно заметные морщины в уголках глаз. Я погладила их указательным пальцем:

— А мне они кажутся восхитительными, — ласково сказала я. — Надо прожить много ночей, побывать во многих странах, увидеть много лиц, чтобы получить эти две крошечные черточки… Вам они идут. И потом, они оживляют лицо. Я не знаю, но, по-моему, это красиво, выразительно, это волнует. Я терпеть не могу гладкие лица.

Она засмеялась:

— Чтобы меня утешить, вы готовы спровоцировать банкротство института красоты. Какая вы милая, Доминика. Ужасно милая.

Мне стало стыдно.

— Не так уж я мила, как вы думаете.

— Я вас обидела? Молодые люди так боятся быть милыми. Но вы никогда не говорите ничего неприятного или несправедливого. И вы любите людей. Так вот, я нахожу, что вы — совершенство.

— Вовсе нет.

Как давно мне не доводилось говорить о себе. Я много практиковалась в этом виде спорта до семнадцати лет. А потом немного устала от него. Я только потому и могла заинтересоваться собой и полюбить себя, что Люк любил меня и интересовался мной. Идиотская мысль.

— Я преувеличиваю, — сказала я вслух.

— И вы невероятно рассеянны, — сказала Франсуаза.

— Потому что никого не люблю, — ответила я. Она посмотрела на меня. Откуда взялось это искушение? Сказать ей: «Франсуаза, я могла бы полюбить Люка, но вас я тоже очень люблю, возьмите его, увезите его».

— А Бертран? Действительно все кончено? Я

пожала плечами:

— Я его больше не вижу. Я хочу сказать: больше на него не смотрю.

— Может быть, вы должны сказать ему об этом? Я не ответила. Что сказать Бертрану? "Я больше не хочу тебя видеть? " Но мне как раз было приятно его видеть. Я очень хорошо к нему относилась. Франсуаза улыбнулась:

— Понимаю. Все не так просто. Идемте завтракать. На улице Кумартен я видела прелестный свитер к этим брюкам. Мы вместе пойдем, посмотрим его и…

Спускаясь по лестнице, мы весело болтали о туалетах. Я не испытывала страсти к подобным темам, но лучше говорить об этом, чем о чем-нибудь другом, лучше подыскивать какие-то определения, ошибаться, вызывая ее негодование, смеяться. Внизу Люк и Бертран завтракали. Они говорили о купании.

— Давайте поедем в бассейн?

Это сказал Бертран. Должно быть, он думал, что в лучах весеннего солнца будет выглядеть лучше, чем Люк. А может быть, у него и не было столь низменных мыслей?

— Блестящая идея. Я заодно поучу Доминику водить машину.

— Без глупостей, без глупостей, — сказала мать Бертрана, входя в комнату в роскошном халате. — Вы хорошо спали? А ты, малыш?

Бертран смутился. Он напустил на себя важный вид, который ему совершенно не шел. Мне он нравился веселым. Всегда приятно видеть веселыми людей, которым мы причинили огорчение. Это меньше расстраивает.

Люк поднялся. Он явно не выносил присутствия своей сестры. Меня это смешило. Мне тоже случалось чувствовать физическую неприязнь, но я вынуждена была это скрывать. Было что-то детское в Люке.

— Я пойду наверх, возьму свои плавки.

Все начали суматошно собираться. Наконец мы были готовы. Бертран поехал с матерью в машине ее друзей, и мы оказались втроем.

— Поезжай, — сказал Люк.

У меня были некоторые, хотя и смутные представления о вождении — сейчас они мне пригодились. Люк сидел рядом со мной, а сзади Франсуаза что-то говорила, не чувствуя опасности. И снова меня охватила тоска по тому, что могло бы быть: долгие путешествия и Люк рядом со мной, дорога, освещенная фарами, ночь, моя голова на плече у Люка, Люк, такой уверенный

за рулем, такой быстрый. Рассветы где-нибудь за городом, сумерки на море…

— Знаете, я никогда не видела моря… Это был вопль негодования.

— Я тебе его покажу, — мягко сказал Люк. И, обернувшись ко мне, улыбнулся. Как будто пообещал. Франсуаза, не расслышав его слов, продолжала.

— В следующий раз, когда мы поедем, Люк, надо будет взять ее с собой. Она будет повторять: «Вот это вода, ну и вода!»

— Я, наверное, сначала искупаюсь, — сказала я. — А говорить буду потом.

— А знаете, это действительно очень красиво, — сказала Франсуаза. — Желтые пляжи с красными скалами и вся эта синяя вода, настигающая тебя сверху…

— Обожаю твои описания, — сказал Люк, смеясь. — Желтое, синее, красное. Как школьница. Как юная школьница, конечно, — добавил он извиняющимся тоном, оборачиваясь ко мне. — Бывают ведь и старые школьницы, очень-очень сведущие во всем. Поверните налево, Доминика, если сможете.

Я смогла. Мы подъехали к поляне. Посредине был большой бассейн с прозрачной голубой

водой, при взгляде на нее мне заранее стало холодно.

Надев купальники, мы быстро пошли к краю бассейна. Я встретила Люка, когда он выходил из кабинки: вид у него был недовольный. Я спросила его — почему, и он улыбнулся немного смущенно:

— Не слишком я красив.

И, в общем, он был прав. Высокий, худой, сутуловатый, отнюдь не смуглый. Но вид у него был такой несчастный, он так старательно держал перед собой полотенце — ну прямо как мальчишка-подросток, — что я умилилась.

— Идемте, идемте, — сказала я весело, — не так вы безобразны, как вам кажется!

Он искоса взглянул на меня, чуть ли не шокированный, потом рассмеялся.

— А ты становишься непочтительной! Потом он разбежался и бросился в воду. Он сразу же вынырнул с отчаянными криками, и Франсуаза села на край бассейна. Она выглядела лучше, чем в одежде, и напоминала одну из луврских статуй.

— Зверски холодно, — сказал Люк, высунув голову из воды. — Надо быть сумасшедшим, чтобы купаться в мае.

— В апреле о купании не может быть и речи.

А в мае — делай что хочешь, — наставительно произнесла мать Бертрана.

Но стоило ей попробовать воду ногой, как она сразу пошла одеваться. Я посмотрела на эту радостную, щебечущую группу вокруг бассейна, незагорелую, взбудораженную, и меня охватило какое-то тихое веселье, и в то же время не давала покоя вечная мысль:

«При чем здесь я?»

— Будешь купаться? — спросил Бертран. Он стоял передо мной на одной ноге, и я смотрела на него с одобрением. Я знала, что каждое утро он упражнялся с гантелями: однажды мы вместе проводили уик-энд и, приняв мою дремоту за глубокий сон, он на рассвете начал делать перед окном всякие упражнения; глядя на него, я втихомолку смеялась до слез, но он, видимо, считал, что выполняет их отменно. Сейчас Бертран выглядел очень чистеньким и здоровым.

— Это для нас возможность отполировать кожу, — сказал он, — ты посмотри на остальных.

— Идем в воду, — сказала я. Я боялась, как бы он не пустился в раздраженные разглагольствования о своей матери, поскольку она выводила его из себя.

С огромным отвращением я окунулась в воду,

проплыла вокруг бассейна, чтобы не уронить достоинства, и вышла, дрожа от холода. Франсуаза растерла меня полотенцем. Я подумала, почему у нее нет детей, ведь она создана для материнства — широкобедрая, пышнотелая, нежная. Как жаль.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через два дня после этого уик-энда, в шесть часов вечера, я встретилась с Люком. Мне казалось, что теперь между нами всегда будет стоять что-то неизмеримое, непоправимое, препятствующее малейшей попытке сделать еще какую-нибудь глупость. Я даже была готова, подобно юной деве XVII века, требовать от него извинений за поцелуй.

Мы встретились в баре на набережной Вольтера. К моему удивлению, Люк был уже там. Он очень плохо выглядел, казался усталым. Я села рядом с ним, и он сразу заказал два виски. Потом спросил, как обстоит дело с Бертраном.

— Все в порядке.

— Он страдает?

Он спросил это без насмешки, но спокойно.

— Почему страдает? — глупо спросила я.

— Он же не дурак.

— Не пойму, почему вы говорите со мной о Бертране. Это… м-м-м…

— Это второстепенно?

На этот раз вопрос был задан в ироническом тоне.

Я вышла из терпения:

— Это не второстепенно, но, в конце концов, не так уж серьезно. Уж если говорить о серьезных вещах, поговорим о Франсуазе.

Он засмеялся:

— Подумай, как забавно получается. В историях такого рода… ну, скажем, партнер другого кажется нам препятствием более серьезным, чем наш собственный. Конечно, плохо так говорить, но когда знаешь кого-нибудь, то знаешь и его манеру страдать, и она кажется вполне приемлемой. Вернее, нет, не приемлемой, но знакомой, а значит, не такой ужасной.

— Я плохо знаю манеру Бертрана страдать…

— У тебя просто не было времени. А я вот уже десять лет женат и хорошо изучил, как страдает Франсуаза. Это очень неприятно.

Мы замолчали на какой-то момент. Каждый из нас, наверно, представлял себе Франсуазу страдающей. Мне она виделась отвернувшейся к стене.

— Это идиотизм, — сказал наконец Люк. — Видишь ли, все куда сложнее, чем я думал.

Он выпил виски, запрокинув голову. У меня было такое чувство, будто я сижу в кино. Я говорила себе, что не время смотреть на все со стороны, но ощущение нереальности оставалось. Люк здесь,

он решит, как быть, все будет хорошо.

Немного наклонившись вперед, он равномерным движением поворачивал стакан в руках. Говорил он, не глядя на меня.

— Разумеется, у меня были связи. Для Франсуазы большей частью неизвестные. Кроме нескольких неудачных случаев. Но это всегда было несерьезно.

Он выпрямился, вид у него был рассерженный.

— С тобой, кстати, это тоже не очень серьезно. Ничего серьезного не может быть. Ничего не стоит Франсуазы.

Я слушала без всякой боли, сама не зная почему. Мне казалось — я сижу на лекции по философии, не имеющей ко мне никакого отношения.

— Но разница есть. Сначала я хотел тебя, как любой мужчина моего склада может хотеть молодую девушку, гибкую, упрямую и несговорчивую… Впрочем, я тебе это говорил. Я хотел приручить тебя, провести с тобой ночь. Я не думал…

Он вдруг повернулся ко мне, взял мои руки в свои и стал говорить с нежностью. Я видела его лицо Очень близко, каждую его черточку. Я слушала его, боясь дышать, вся превратилась в слух, освободившись, наконец, от самое себя.

Внутреннего голоса слышно не было.

— Я подумать не мог, что могу тебя уважать. Я очень уважаю тебя, Доминика, и очень тебя люблю. Я никогда не буду любить тебя «по-правдашнему», как говорят дети, но мы очень похожи с тобой, ты и я. Я хочу не просто переспать с тобой, я хочу жить вместе с тобой, провести с тобой отпуск. Мы дали бы друг другу радость и нежность, со мной у тебя будет море и деньги, и что-то похожее на свободу. Мы бы меньше скучали вдвоем. Вот так.

— Я тоже хотела бы этого, — сказала я. — Потом я вернусь к Франсуазе. Чем ты рискуешь? Привязаться ко мне, а потом страдать? Ну и что из того? Это лучше, чем скучать. Лучше быть счастливой или несчастной, чем вообще ничего, ведь так?

— Конечно, — сказала я.

— Чем ты рискуешь? — повторил Люк, будто убеждал самого себя.

— И потом — страдать, страдать, не надо ничего преувеличивать, — вставила я. — У меня не такое уж нежное сердце.

— Вот и хорошо. Посмотрим, подумаем. Поговорим о чем-нибудь другом. Хочешь еще выпить?

Мы выпили за наше здоровье. Мне было ясно одно — кажется, мы уедем вдвоем на машине,

как я уже представляла себе, но считала невозможным. Потом я что-то придумаю, чтобы не привязаться к нему — ведь заранее известно, что все пути отрезаны. Не так уж я глупа.

Мы гуляли по набережным. Люк смеялся вместе со мной, болтал. Я тоже смеялась, я говорила себе, что с ним надо всегда смеяться, и в общем ничего не имела против. «Смех сопутствует любви», — утверждает Ален. Но в данном случае речь шла не о любви, только о соглашении. Кроме всего прочего, я, наконец, была почти горда собой: Люк думает обо мне, уважает меня, хочет меня; я имела право считать себя до некоторой степени интересной, вызывающей уважение, желанной. Маленький страж моей совести, показывающий мне всякий раз, когда я начинаю думать о себе, образ довольно невзрачный, возможно, был слишком суров, слишком пессимистичен.

Расставшись с Люком, я пошла в бар и выпила еще виски на все четыреста франков, оставленные на завтрашний обед. Через десять минут мне стало чудесно, я чувствовала себя нежной, доброй, веселой. Мне необходим был кто-то, кому я могла бы, для его же пользы, объяснить все жестокое, нежное и горькое, что я знаю о жизни. Я могла бы говорить часами. Бармен был любе-

зен, но заинтересованности не проявлял. Так что я отправилась в кафе на улицу Сен-Жак. Там я встретила Бертрана. Он был один; перед ним уже стояло несколько пустых рюмок. Я села около него; он обрадовался, увидев меня.

— Я как раз думал о тебе. В «Кентукки» новый поп-оркестр. Может, пойдем? Мы уже пропасть времени не танцевали.

— У меня нет ни единого су.

— Мать дала мне на днях десять тысяч франков. Давай выпьем по стаканчику и пойдем.

— Сейчас не больше восьми, — возразила я. — Раньше десяти не откроют.

— Значит, выпьем по нескольку стаканчиков, — сказал Бертран весело.

Я оживилась. Я очень любила танцевать с Бертраном под быстрый темп поп-музыки. Стоило мне услышать джазовую музыку, ноги начинали двигаться сами собой. Бертран уплатил по счету, и мне показалось, что он уже достаточно пьян. Он был само веселье. К тому же он был моим лучшим другом, моим братом, я чувствовала к нему глубокую привязанность.

До десяти часов мы обошли пять или шесть баров. В конце концов оба совершенно опьянели. Безумно веселые, но не сентиментальные. Когда

мы добрались до «Кентукки», оркестр только начал играть, еще почти никого не было, и на площадке мы были одни или почти одни. Вопреки моим предположениям танцевали мы очень хорошо; мы совершенно расслабились. Мне страшно нравилась эта музыка, ее стремительный порыв, это наслаждение следовать за ней каждым движением своего тела.

Присаживались мы, только чтобы выпить.

— Музыка, — доверительно сообщила я Бертрану, — джазовая музыка-это освобождение. Он резко выпрямился:

— Ты права. Очень, очень интересно. Блестящее определение. Браво, Доминика!

— В самом деле?

— Виски в «Кентукки» отвратительное. А музыка хороша. Музыка равна освобождению… А освобождению от чего?

— Не знаю. Послушай трубу, это уже не только освобождение, это необходимость. Нужно дойти до последнего предела этого звука, ты чувствуешь? Необходимо. Знаешь, ведь это как в любви, физической любви, наступает момент, когда нужно, чтобы… Когда уже нельзя по-другому…

— Прекрасно. Очень, очень интересно. Потанцуем?

Так мы проводили ночь: пили и обменивались нечленораздельными звуками. И наконец голова закружилась от множества лиц, ног, от Бертрана, который вел меня, держа на расстоянии; и эта музыка, бросавшая меня к нему, и эта немыслимая пара, и невероятное согласие наших тел…

— Закрывают, — сказал Бертран. — Четыре часа.

— У меня уже тоже закрыто, — заметила я.

— Не имеет значения, — сказал он.

Это действительно не имело значения. Мы поехали к нему и легли в постель, и было совершенно естественно, что в эту ночь, как и всю зиму, я чувствовала тяжесть Бертрана и что мы были счастливы вместе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Утром я лежала рядом с ним, он спал. По-видимому, было еще рано; мне больше не спалось, и я говорила себе, что, как и он, погруженный в сон, я тоже как будто не здесь. Мое настоящее "я" было очень далеко отсюда, за пригородными домиками, деревьями, полями, детством, неподвижное, в конце какой-то аллеи. Как будто девушка, склонившаяся над этим соней, только бледное отражение моего "я", — спокойного, безжалостного, от которого, впрочем, я уже отделилась, чтобы начать жить. Как будто своему вечному "я" предпочитала собственную жизнь, оставив эту статую в конце аллеи, в сумерках — и на плечах ее, словно птиц, множество жизней, возможных и отвергнутых.

Я потянулась, оделась... Проснулся Бертран, о чем-то спросил, зевнул, провел рукой по щекам и подбородку, пожаловался на отросшую щетину. Я договорилась с ним на вечер и возвратилась к себе, чтобы позаниматься. Но — напрасно: было невыносимо жарко, время приближалось к полудню, а я должна была завтракать с Люком и Франсуазой. Я вышла купить сигарет, вернулась,

стала закуривать и вдруг остро почувствовала, что за все сегодняшнее утро не было ничего, кроме неясного инстинктивного желания сохранить свои прежние привычки. Ничего, ни одной минуты!.. Да и могло ли быть иначе? Я не верила в радостные улыбки едущих в автобусе людей, в бьющую через край жизнь городских улиц, и я не любила Бертрана. Мне необходим был кто-нибудь или что-нибудь. Я так и сказала себе, закуривая сигарету, почти в полный голос: «Кто-нибудь или что-нибудь», и мне самой это показалось мелодраматичным. Мелодраматичным и нелепым. Подобно Катрин, я переживала приступ сентиментального отчаяния. Я любила любовь и слова, имеющие к ней отношение: нежный, жестокий, ласковый, доверчивый, непомерный, — и я никого не любила. Разве что Люка, когда он был рядом. Но я не решалась думать о нем после вчерашнего. Мне не хотелось снова испытывать такое чувство, будто я от него отказалась, чувство, подступавшее к горлу всякий раз, когда я о нем вспоминала.

Я ждала Люка и Франсуазу, как вдруг почувствовала странное головокружение — пришлось немедленно идти в туалет. Когда все прошло, я подняла голову и посмотрела в зеркало. "Итак, —

сказала я вслух, — случилось! " Снова начинался этот кошмар, я хорошо знала это состояние, хотя часто пугалась — напрасно. Но на этот раз… А может, причина во вчерашнем виски и волноваться не из-за чего. Я лихорадочно обсудила этот вопрос сама с Собой, глядя в зеркало с любопытством и насмешкой. Несомненно, я была в ловушке. Скажу об этом Франсуазе. Не может быть, чтобы Франсуаза не помогла мне из нее выбраться.

Но Франсуазе я ничего не сказала. Не хватило духу. И потом, за завтраком, Люк заставил нас выпить, тогда я немного забыла об этом, уговорила сама себя.

На следующий день после этого завтрака началась неделя такого преждевременного лета, что я даже представить себе не могла ничего подобного. Я ходила по улицам, потому что в комнате было невыносимо — такая там была духота. Я туманно расспрашивала Катрин о возможных выходах из положения, не решаясь ей ничего открыть. Я не хотела больше видеть Люка, Франсуазу, этих свободных и сильных людей. Я чувствовала себя, как больное животное. Иногда меня одолевали приступы дурацкого нервного смеха. Ни планов, ни сил. К концу недели я уверилась что у меня будет ребенок от Бертрана, и

немного успокоилась. Надо было действовать.

Но накануне экзаменов выяснилось, что я ошиблась, что все это действительно был только кошмар, и письменный я сдавала, улыбаясь от облегчения. Просто в течение десяти дней я думала только об этом, и теперь с восхищением открывала для себя все остальное. Снова все стало возможным и радостным. Однажды ко мне случайно зашла Франсуаза, ужаснулась невыносимой духоте, предложила готовиться к устному у них. Теперь я занималась, лежа на белоснежном ковре в их квартире с полуспущенными жалюзи, одна. Франсуаза возвращалась к пяти часам, показывала покупки, без особой настойчивости пыталась спрашивать меня по программе, и все это кончалось шутками. Приходил Люк, смеялся вместе с нами. Мы шли обедать в какое-нибудь открытое кафе, они отвозили меня домой. Однажды Люк вернулся до прихода Франсуазы, вошел в комнату, где я занималась, опустился на ковер возле меня. Он взял меня на руки и тут же, над моими разложенными тетрадками, поцеловал, не говоря ни слова. Его губы я ощутила так, будто других губ и не знала, будто все пятнадцать дней только о них и думала. Потом он сказал, что напишет мне во время моих каникул и что, если я

захочу, мы с ним поедем куда-нибудь на неделю. Он гладил мне затылок, искал мои губы. Мне захотелось остаться вот так, не поднимая головы с его плеча, до самой ночи, тихонько жалуясь, быть может, на то, что мы не любим друг друга. Учебный год кончился.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дом был длинный, серого цвета. Луга спускались к зеленоватой Ионне, застывшей среди камышей и маслянистых проток. Над водой летали ласточки и тополиный пух. Один из тополей мне особенно нравился, я любила лежать возле него. Я вытягивалась, упираясь ступнями в ствол, забывалась, глядя на ветки, — высоко надо мной их раскачивал ветер. Земля пахла нагретой травой, я подолгу наслаждалась всем этим, наслаждалась вдвойне из-за ощущения полной расслабленности. Я знала, как выглядит этот пейзаж в дождь и в зной. Знала его до Парижа, до его улиц, Сены и мужчин: он не менялся.

Я много читала, потом медленно поднималась в гору, шла домой, чтобы поесть. Моя мать, пятнадцать лет назад потерявшая сына при довольно трагических обстоятельствах, страдала неврастенией, которой быстро пропитался весь дом. В этих стенах благоговели перед грустью. Мой отец ходил по дому на цыпочках и носил за матерью ее шали.

Бертран мне писал. Он прислал мне странное письмо, путаное, полное намеков на последнюю

ночь, проведенную вместе после вечера в «Кентукки», ночь, когда, по его словам, он не проявил должного уважения ко мне. Я, однако, не заметила, чтобы он проявил его меньше, чем обычно, и, поскольку в этом смысле наши отношения были совершенно просты и удовлетворяли обоих, я долго размышляла, на что же он намекает. Наконец я поняла, что он пытался соединить нас прочной цепью, искал ее и в результате выбрал довольно непрочную — эротику. Сначала я рассердилась на него — зачем он усложняет то, что было между нами самым радостным и, в общем, самым чистым; я не понимала, что в определенных случаях предпочитают даже самое худшее — лишь бы не быть заурядным, лишь бы не сделать того, что от тебя ждут. А для него и заурядность, и необходимость вести себя именно так, как от него ждали, были связаны с тем, что я его больше не любила. И при этом я понимала, что жалеет он только обо мне, а не о нас обоих, потому что после этого месяца «нас» уже не существовало, и это еще больше меня огорчало.

От Люка не было вестей целый месяц: только очень милая открытка от Франсуазы, которую подписал и он. С дурацкой гордостью я повторяла себе, что не люблю его: я не страдала от его

отсутствия — какие еще нужны доказательства? Мне не приходило в голову, что, действительно разлюбив его, я не торжествовала бы, а, напротив, чувствовала бы себя униженной. Впрочем, все эти премудрости меня раздражали… Я так хорошо держала себя в руках.

И потом, я любила этот дом, где должна была бы так скучать. Я и скучала, но скукой приятной, а не вызывающей стыд, как в Париже. Я была очень любезна и внимательна ко всем, мне нравилось быть такой. Бродить по комнатам, по лугам, чувствовать, что больше ни на что не способна — какое это облегчение! Неподвижно лежа, покрываться легким загаром, ждать, без ожидания, конца каникул. Читать. Каникулы похожи были на длинный урок, вязкий и бесцветный.

Наконец пришло письмо от Люка. Он писал, что приедет в Авиньон 22 сентября. Там будет ждать моего приезда либо письма. Я тут же решила ехать, и прошедший месяц показался мне воплощением простоты. Да, это, несомненно, Люк, его спокойный тон, этот нелепый и неожиданный Авиньон, это кажущееся отсутствие интереса. Я наврала родителям, написала Катрин — пусть состряпает мне какое-нибудь приглашение в гости. Она тут же прислала его вместе с другим

письмом, в котором удивлялась, почему я не еду на побережье, ведь там Бертран со своей компанией. Мое недоверие ее очень огорчило: она ничем решительно его не заслужила! Я коротко поблагодарила ее и приписала, что, если ей хочется причинить Бертрану боль, достаточно будет показать ему мое письмо… что она, кстати, и сделала — разумеется, из дружеских чувств к нему.

21 сентября, почти налегке" я отправилась в Авиньон, который, к счастью, расположен на пути к Лазурному берегу. Родители провожали меня на вокзал. Я рассталась с ними, чуть не плача, непонятно почему. Впервые мне показалось, что кончилось детство, родительская опека… Я заранее ненавидела Авиньон.

Из-за молчания Люка, из-за его небрежного письма я стала представлять его себе довольно равнодушным и черствым. В Авиньон я приехала настороженная, в настроении, весьма неподходящем для так называемого любовного свидания. Я согласилась на поездку с Люком не потому, что он меня любил или я его любила. Я согласилась на нее потому, что мы говорили на одном языке и нравились друг другу. Думая об этом, я посчитала эти причины незначительными, а саму поездку ужасной.

Но Люк удивил меня в который уже раз. Он стоял на платформе, весь напряженный, и, увидев меня, очень обрадовался. Я вышла из вагона, он крепко обнял меня и нежно поцеловал.

— Ты прекрасно выглядишь. Как я рад, что ты приехала.

— Вы тоже, — сказала я, имея в виду его внешность.. Он действительно выглядел подтянутым, загорел и был гораздо красивее, чем в Париже.

— Ты знаешь, нет никакого смысла оставаться в Авиньоне. Давай двинемся к морю, раз уж мы для этого приехали. А там видно будет.

Его машина стояла у вокзала. Он закинул мой чемодан в багажник, и мы отправились. Я совершенно отупела и, наперекор здравому смыслу, была немного разочарована. Я не помнила его ни таким соблазнительным, ни таким веселым.

Дорога была прекрасная, обсаженная платанами. Люк курил, и мы мчались к солнышку, опустив верх. Я думала: «Ну вот, это в самом деле я, здесь и сейчас». И ничего при этом не чувствовала, совсем ничего. Я могла бы с таким же успехом сидеть под своим тополем с книгой. Эта прострация, в конце концов, меня даже развеселила. Я повернулась и" попросила сигарету. Он улыбнулся:

— Полегче стало? Я засмеялась.

— Полегче. Я потихоньку спрашиваю себя, что это я делаю тут, с вами, вот и все.

— Ничего не делаешь, едешь, куришь, спрашиваешь себя, не соскучишься ли. Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловал?

Он остановил машину, обнял меня за плечи и поцеловал. Для нас это был чудесный способ опять почувствовать друг друга. Чуть улыбаясь, я ощутила его губы, и мы поехали дальше. Люк держал меня за руку. Он хорошо меня чувствовал. Я два месяца прожила среди получужих людей, застывших в печали, которой я не разделяла, и мне казалось, что мало-помалу жизнь начинается снова.

Море было удивительно; на секунду я пожалела, что Франсуаза не с нами, а то бы я сказала ей, что оно действительно синее с красными скалами, песок желтый и что все это было очень точно увидено ею. Я немного боялась, что Люк начнет показывать мне море с торжествующим лицом, исподтишка следя за моей реакцией, — тогда мне придется отвечать прилагательными и делать восхищенное лицо; но он просто указал на него пальцем, когда мы приехали в Сен-Рафаэль.

— Вон море.

И в сумерках мы медленно поехали вдоль берега, а море рядом с нами постепенно бледнело, становилось серым. В Канне Люк остановил машину на набережной Круазетт, у гигантского отеля, вестибюль которого привел меня в ужас. Я понимала — мне только тогда станет хорошо, когда я забуду об этой роскоши, о лакеях, научусь относиться к ним как к существам привычным, безопасным, не обращающим на меня внимания. Люк долго объяснялся с высокомерным человеком за стойкой. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Он это почувствовал и, когда мы пересекали холл, положил мне руку на плечо, показывая дорогу. Комната была огромная, почти белоснежная, с двумя застекленными дверьми, выходившими на море. Суета носильщиков, чемоданы, открытые окна, шкафы. Посередине — я, опустив руки, злясь на собственную неспособность что-то ощущать.

— Ну вот, — сказал Люк.

Он с удовлетворением оглядел комнату, перегнулся через перила.

— Иди посмотри.

Я облокотилась рядом с ним, на приличном расстоянии. Мне совершенно не хотелось ни смотреть в окно, ни фамильярничать с этим не

слишком хорошо знакомым человеком. Он взглянул на меня.

— Ну, ты снова стала дикой. Иди прими ванну, потом выпьем вместе. Комфорт и алкоголь-это, по-видимому, единственное, что способно тебя развеселить.

Он оказался прав. Переодевшись, я пришла и встала рядом с ним со стаканом в руке, наговорила тысячу комплиментов ванной комнате и морю. Он сказал мне, что я дивно выгляжу. Я ответила ему, что он тоже, и мы, довольные друг другом, стали глядеть на пальмы и толпу. Потом он ушел переодеться, оставив мне второй стакан виски, и я, напевая, расхаживала босиком по толстому плюшу.

Обед прошел хорошо. Мы говорили о Франсуазе и Бертране, прочувствованно и нежно. Я сказала, что не очень хотела бы встретиться здесь с Бертраном, но Люк ответил — мы обязательно наткнемся на кого-нибудь, кто не откажет себе в удовольствии рассказать все и ему, и Франсуазе, и у нас будет достаточно времени «расхлебывать кашу», когда мы вернемся. Я была тронута тем, что он пошел на такой риск. Я сказала ему об этом, зевая, потому что до смерти хотела спать. Еще я сказала, что мне нравится, как он смотрит

на вещи:

— Замечательно. Уж если вы решили что-то сделать, вы делаете это, заранее принимаете все последствия, ничего не боитесь.

— А чего мне, по-твоему, бояться? — сказал он с непонятной грустью. — Бертран меня не убьет. Франсуаза не оставит. Ты не полюбишь.

— Может быть, Бертран убьет меня, — ответила я, задетая.

— Для этого он слишком симпатичный. Впрочем, все симпатичные.

— Злые люди еще скучнее. Ведь это вы мне говорили.

— Ты права. И потом, поздно уже, пойдем, пора спать.

Он сказал это очень просто. В наших разговорах не было ничего любовного, но это «пойдем, пора спать» показалось мне все же несколько бесцеремонным. Сказать по правде, я боялась, я очень боялась предстоящей ночи.

В ванной я дрожащими руками надела пижаму. Я была немного похожа в ней на школьницу, но другой у меня не было. Когда я вошла, Люк уже лег. Он курил, повернувшись лицом к окну. Я скользнула в постель. Он спокойно потянулся ко мне, взял мою руку в свою. Меня трясло.

— Сними пижаму, глупышка, ты ее помнешь. Тебе холодно в такую ночь? Ты больна?

Он притянул меня к себе, осторожно снял пижаму, бросил на пол. Я заметила, что она все-таки помнется. Он тихо засмеялся. Каждое его движение было полно необыкновенной нежности. Он спокойно целовал мне плечи, губы, продолжая говорить:

— Ты пахнешь теплой травой. Тебе нравится эта комната? Если нет, тогда уедем. Канн все-таки приятный город…

Я сдавленно отвечала: «Да, да». Мне очень хотелось, чтобы уже было завтрашнее утро. Но когда он немного отстранился от меня и положил руку мне на бедро, сердце у меня забилось. Он ласкал меня, а я целовала его шею, грудь, — всю эту тень, черную на фоне неба, видневшегося сквозь застекленную дверь. Наконец ноги наши переплелись, я обняла его: наше дыхание смешалось. Потом я уже не видела ни его, ни неба Канна. Я умирала, я должна была умереть и не умирала, я теряла сознание. Все остальное ничего не стоило:

как можно было никогда этого не знать? Когда мы оторвались друг от друга, Люк открыл глаза и улыбнулся мне. Я тотчас заснула, положив голову

на его руку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне всегда говорили, что жить с кем-нибудь очень трудно. Я думала об этом, но так по-настоящему и не узнала во время короткой совместной жизни с Люком. Я думала об этом, потому что никак не могла полностью расслабиться с ним. Я боялась, не соскучится ли он со мной. Я не могла не заметить, что обычно боялась за себя — не соскучусь ли я, — а не за других. Такой поворот меня беспокоил. Но разве трудно жить с таким человеком, как Люк, который не заводит серьезных разговоров, ни о чем не спрашивает (особенно — "О чем ты думаешь? "), неизменно доволен, что я рядом, и не демонстрирует ни равнодушия, ни страсти? Мы шли в ногу, у нас были одинаковые привычки, одинаковый ритм жизни. Мы нравились друг другу, все шло хорошо. Я вовсе не жалела о том, что он не делает этого огромного усилия над собой, без которого невозможно полюбить другого человека, узнать его, разрушить свое одиночество. Мы были друзьями, любовниками; вместе купались в Средиземном море, чересчур синем; разморенные солнцем, завтракали, разговаривая о пустяках, и возвращались в

отель. Иногда, в его объятиях, охваченная нежностью, наступающей после любви, я так хотела ему сказать: «Люк, полюби меня, давай попытаемся, позволь нам попытаться». Я не говорила этого. Я только целовала его лоб, глаза, рот, каждую черточку этого нового лица, теперь осязаемого, которое губы открывают вслед за глазами. Ни одно лицо я так не любила. Я любила даже его щеки, а ведь эта часть лица всегда была для меня больше «рыбой», чем «мясом». Теперь, прижимаясь лицом к щекам Люка, прохладным и немного колючим — у него быстро отрастала борода, — я поняла Пруста, длинно описывавшего щеки Альбертины. Благодаря Люку я узнала свое тело, он говорил мне о нем с интересом, без непристойности, как о какой-то драгоценности. Однако не чувственность определяла наши отношения, а что-то другое, что-то вроде соучастия, нелегкого, вызванного усталостью от жизненных комедий, усталостью от слов, усталостью как таковой.

После обеда мы всегда ходили в один и тот же бар, немного мрачный, за улицей д'Антиб. Там был маленький оркестр; когда мы пришли туда в первый раз, Люк заказал мелодию «Покинутый и любимый», я ему о ней говорила. Он обернулся ко мне, очень довольный собой:

— Ты эту мелодию хотела?

— Да. Как приятно, что ты вспомнил.

— Она напоминает тебе Бертрана? Я ответила — да, немного, эта пластинка уже давно в ходу. Он поморщился.

— Досадно. Но мы придумаем что-нибудь другое.

— Зачем?

— Когда заводишь роман, надо выбрать мелодию, духи, какие-то ориентиры на будущее.

Должно быть, у меня был забавный вид, потому что он засмеялся.

— В твоем возрасте не думают о будущем. А я готовлю себе приятную старость, с пластинками.

— У тебя их много?

— Нет.

— Жаль, — сказала я со злостью. — Мне кажется, у меня в твоем возрасте будет целая дискотека. Он осторожно взял меня за руку.

— Ты обиделась?

— Нет, — сказала я подавленно. — Просто это довольно смешно, вот так думать, что через год или два от целой недели твоей жизни, живой недели с мужчиной, не останется ничего, кроме пластинки. Особенно если мужчина заранее это знает и об этом говорит.

Я с раздражением чувствовала слезы на глазах. И все из-за тона, которым он спросил: "Ты обиделась? " Когда со мной так говорят, мне всегда хочется похныкать.

— Больше я ни на что не обиделась, — нервно повторила я.

— Идем, — сказал Люк, — потанцуем. Он обнял меня, и мы начали танцевать под мелодию Бертрана, совершенно, впрочем, непохожую на прекрасную запись на пластинке. Когда мы танцевали, Люк вдруг сильно прижал меня к себе, с особенной нежностью, — так, вероятно, это называется, — и я прильнула к нему. Потом он отпустил меня, и мы заговорили о другом. Мы нашли нашу мелодию, она выбралась сама собой, потому что ее играли повсюду.

Кроме этой маленькой ссоры, я держалась хорошо, была веселой и считала, что наше небольшое приключение очень удачно. И потом, я восхищалась Люком, я не могла не восхищаться его умом, его жизненной устойчивостью, манерой сразу определять ценность вещей, их значение, по-мужски точно, без цинизма или снисходительности. Но мне хотелось сказать ему иногда с раздражением: "Почему бы тебе все-таки не полюбить меня? Мне было бы настолько спокойнее!

Почему не установить между нами стеклянную стену страсти, меняющую порой все пропорции, но такую удобную? " Но нет, мы оставались в том же качестве — союзники и соучастники. Я не могла стать любимой, а он любящим, у него не было на это ни возможности, ни сил, ни желания. В то утро-оно должно было быть последним — мне показалось, что он меня любит. Он принялся молча ходить по комнате, вид у него был такой замкнутый, что это меня заинтриговало.

— Что ты сказала дома? Когда ты вернешься?

— Я сказала «примерно через неделю».

— Если это тебя устроит, останемся еще на неделю?

— Да…

Я вдруг поняла, что и не думала об отъезде по-настоящему. Моя жизнь пройдет в этом отеле, который стал гостеприимным и удобным, как большой корабль. Рядом с Люком все ночи будут бессонными. Мы тихо приблизимся к зиме, к смерти, разговаривая о преходящем.

— Я думаю: Франсуаза тебя ждет?

— Это я могу уладить. Я не хочу уезжать из Канна. Ни из Канна, ни от тебя.

— Я тоже, — ответила я таким же спокойным и невинным тоном.

Таким же тоном. На секунду я подумала, что он, может быть, любит меня, но не хочет этого говорить. Сердце у меня забилось. Но потом я вспомнила, что это всего лишь слова, что я действительно ему нравлюсь и что этого достаточно. Просто мы договорились еще об одной счастливой неделе. Потом я должна буду его оставить. Оставить его, оставить его… Зачем, для кого, для чего? Для приступов скуки, для рассеянного одиночества? По крайней мере, когда на меня смотрит он, я вижу, что это он; когда он говорит со мной, это тот, кого я хочу понять. Он, который мне интересен, кого я хочу видеть счастливым. Он, Люк, мой любовник.

— Это прекрасная мысль, — повторила я. — По правде говоря, я не думала об отъезде.

— Ты не думаешь ни о чем, — сказал он, смеясь.

— Да, когда я с тобой.

— Почему? Чувствуешь себя юной, ни за что не отвечающей?

Он лукаво улыбался. Он быстро — если бы я попыталась — уничтожил бы в нашей паре позицию «маленькой девочки и чудесного покровителя».

К счастью, я чувствовала себя совершенно

взрослой, взрослой и пресыщенной.

— Нет, — сказала я. — Я за все отвечаю. Но за что? За свою жизнь? Она достаточно приемлемая и достаточно вялая. Я не чувствую себя несчастной. Я довольна. Но я и не счастлива. Мне никак; хорошо только с тобой.

— Это прекрасно, — продолжил он. — Мне тоже очень хорошо с тобой.

— Что ж, давай помурлыкаем. Он засмеялся.

— Стоит хоть чуть-чуть упрекнуть тебя за эту твою привычную дозу безнадежности — ах, жизнь абсурдна, — как ты становишься разъяренной кошкой. Я вовсе не претендую на то, чтобы ты, по твоему выражению, «мурлыкала», или, скажем, блаженствовала со мной. Мне бы стало скучно.

— Почему?

— Я бы чувствовал себя одиноким. Бывают минуты, когда Франсуаза внушает мне страх-то есть, когда она рядом со мной, молчит и всем довольна. С другой стороны, с мужской и общественной точки зрения, очень удобно знать, что сделал женщину счастливой, хотя сам не понимаешь, каким образом.

— Значит, все прекрасно, — выпалила я единым духом. — Есть Франсуаза, которую ты делаешь

счастливой, и я, которую ты сделаешь довольно несчастной по возвращении.

Я еще не успела договорить эту фразу, как уже пожалела о ней. Он повернулся ко мне:

— Тебя несчастной?

— Нет, — ответила я, улыбаясь, — немного сбитой с толку. Нужно будет найти кого-то, кто бы занимался мной, а никто не умеет этого лучше тебя.

— Только не вздумай рассказывать мне об этом, — сказал он со злостью. Потом передумал.

— Нет, лучше рассказывай. Рассказывай мне обо всем. Если это будет неприятный тип, я его поколочу. Если наоборот, я выражу свое согласие. Короче, настоящий папаша.

Он взял мою руку, повернул ее и стал нежно и долго целовать ладонь. Я положила другую руку ему на затылок. Он был очень юный, очень ранимый, очень добрый, этот мужчина, предложивший мне связь без будущего, без сантиментов. Он был честен.

— Мы — честные люди, — сказала я нравоучительным тоном.

— Да, — ответил он, смеясь. — Только не кури вот так сигарету, это нечестно.

На мне был халат в горошек.

— А разве я честная женщина? Зачем я живу с чужим мужем в этом роскошном прибежище порока? В типичном наряде куртизанки? Разве я не образец сбившейся с пути юной прихожанки церкви Сен-Жермен-де-Пре, которая разбивает браки, словно бы невзначай, думая о чем-то своем?

— Да, — сказал он удрученно. — А я — муж, который был таким примерным и вдруг потерял голову, болван, болван… Иди сюда…

— Нет, нет. Потому что я отказываюсь от тебя, я гнусно обвела тебя вокруг пальца. Зажгла в твоей крови огонь желания, а сама отказываюсь усмирить его. Вот.

Он рухнул на кровать, обхватив голову руками. Я мрачно села около него. Когда он поднял голову, я посмотрела на него пристально и сурово.

— Я — роковая женщина.

— А я?

— Жалкое подобие человека. А был когда-то мужчиной. Люк! Еще неделя!

Я упала на кровать рядом с ним, его волосы перепутались с моими; я прижалась к нему щекой, он был горячий и прохладный, от него пахло морем, солью.

Я была одна, не без удовольствия сидела в шез-

лонге перед отелем, лицом к морю. Я и какие-то пожилые англичанки. Было одиннадцать утра, Люк уехал в Ниццу улаживать какие-то сложные дела. Мне, в общем, нравилась Ницца, по крайней мере невзрачная ее часть между вокзалом и Английским бульваром. Но я отказалась ехать, потому что мне вдруг остро захотелось побыть одной.

Я была одна, зевала, обессилевшая от бессонных ночей, мне было удивительно хорошо. Когда я закуривала сигарету, рука моя, державшая спичку, немного дрожала. Сентябрьское солнце, уже не такое жаркое, ласкало щеку. На этот раз мне было очень хорошо с самой собой. «Нам хорошо, только когда мы устаем», — говорил Люк, и это была правда, потому что я принадлежала к породе людей, которым хорошо, только когда они исчерпают определенную часть жизнеспособности, требовательной, подверженной приступам скуки; ту самую часть, которая спрашивает:

"Что ты сделал со своей жизнью? Что ты хочешь с ней делать? "-вопрос, на который я могла ответить только: «Ничего».

Мимо прошел очень красивый молодой человек; я оглядела его с безразличием, удивившим меня самое. Вообще говоря, красота обычно при-

водила меня в некоторое смущение. Она казалась мне неприличной, неприличной и недоступной. Этот молодой человек показался мне приятным на вид и совершенно нереальным. Люк уничтожил других мужчин. Зато я не уничтожила для него других женщин. Он смотрел на них с полной готовностью и без лишних рассуждений.

Вдруг море заволокло туманом. Я почувствовала удушье. Приложила руку ко лбу — он был в испарине. Даже корни волос были влажны. Капля пота медленно ползла вдоль спины. Должно быть, смерть-это всего лишь голубоватый туман, нетрудное падение в провал. Я могла бы умереть тогда и не стала бы сопротивляться.

Я мимоходом схватила смысл этой фразы, мелькнувшей в сознании и готовой тут же, на цыпочках, ускользнуть. «И не стала бы сопротивляться». А ведь многое я очень любила: Париж, запахи, книги, любовь, мою нынешнюю жизнь с Люком. У меня было предчувствие, что ни с кем мне, наверное, не будет так хорошо, как с ним, что он создан для меня на веки веков и что, без сомнения, существует предопределенность встреч. Моя судьба была в том, что Люк оставляет меня, что я попытаюсь начать все сначала с другим, что, разумеется, я это сделаю. Но никогда и ни с кем я

не буду такой, как с ним: почти не ощущающей одиночества, спокойной и внутренне раскованной. Только ведь он снова будет со своей женой, а меня оставит в моей парижской комнате, оставит одну с этими бесконечными полуполуденными часами, приступами отчаяния и неудачными романами. Я принялась тихонько хныкать, сама себя растрогав.

Минуты три я хлюпала носом. Через два шезлонга от меня сидела пожилая англичанка и разглядывала меня — без сострадания, но с интересом, заставившим меня покраснеть. Потом я сама стала внимательно смотреть на нее. Секунду я была исполнена невероятного уважения к ней. Это было человеческое существо, другое человеческое существо. Она смотрела на меня, а я на нее, пристально, на солнышке, обе ослепленные каким-то откровением: два человеческих существа, говорящие на разных языках и глядевшие друг на друга как на неожиданность. Потом она поднялась и, прихрамывая, ушла, опираясь на палку.

Счастье-вещь ровная, без зарубок. Так и у меня от этого времени в Канне не осталось ясных воспоминаний, разве что о. нескольких несчастливых минутах, об улыбках Люка да еще о пресном и

навязчивом запахе летней мимозы в комнате по ночам. Может быть, счастье для таких, как я, — это что-то вроде рассеянности, отсутствия скуки, доверчивой рассеянности. Теперь я знала эту рассеянность, так же как иногда, встречаясь со взглядом Люка, знала ощущение, что все, наконец, идет хорошо. Не я, а он нес на своих плечах весь мир. И смотрел на меня, улыбаясь. Я знала, почему он улыбается, и мне хотелось улыбаться ему в ответ.

Помню момент окрыления однажды утром. Люк лежал на песке. Я ныряла с плота. Потом поднялась на последнюю площадку трамплина. Я видела Люка, толпу на песке и ожидавшее меня ласковое море. Я упаду, оно скроет меня; я упаду с очень большой высоты и во время падения буду одна, смертельно одна. Люк смотрел на меня. Он иронически изобразил ужас, и я прыгнула. Море взлетело мне навстречу; я больно ударилась о него. Добралась до берега и рухнула рядом с Люком, обрызгав его; потом положила голову на его сухую спину и поцеловала в плечо.

— Что это-сумасбродство… или просто спортивный азарт? — сказал он.

— Сумасбродство.

— Так я и сказал себе — причем с гордостью.

Когда я подумал, что ты ныряешь с такой высоты, чтобы поскорее быть со мной, я был очень счастлив.

— Ты счастлив? Это я счастлива. Я должна быть счастливой в любом случае, потому что я этого не требую. Это аксиома, ведь так?

Я говорила, не глядя на него, потому что он лежал на спине и я видела только его затылок. Загорелый и крепкий затылок.

— Я верну тебя Франсуазе в отличном виде, — сказала я шутливо.

— Ну и цинизм!

— Ты куда меньший циник, чем мы. Женщины очень циничны. Ты просто мальчишка по сравнению со мной и Франсуазой.

— Ничего себе претензии!

— У тебя их куда больше, чем у нас. Женщины с претензиями сразу же становятся смешны. Мужчинам же это придает обманчивую мужественность, которую они поддерживают для…

— Скоро кончатся эти аксиомы? Поговорим о погоде. Во время отпуска это единственная дозволенная тема.

— Погода хорошая, — сказала я, — погода очень хорошая…

И, повернувшись на спину, заснула.

Когда я проснулась, небо было затянуто облаками, пляж обезлюдел, губы у меня пересохли, я чувствовала себя совершенно обессиленной. Люк сидел около меня на песке, одетый. Он курил, глядя в море. Я смотрела на него с минуту, не показывая, что проснулась, впервые с каким-то отстраненным любопытством: "О чем может думать этот человек? " О чем может думать человек, сидя на пустынном пляже, перед пустынным морем, рядом — с кем-то, кто спит? Он представлялся мне таким раздавленным этой тройной пустотой, таким одиноким, что я потянулась к нему и дотронулась до его плеча. Он даже не вздрогнул. Он никогда не вздрагивал, редко удивлялся, вскрикивал еще реже.

— Проснулась? — сказал он лениво. И нехотя потянулся. — Четыре часа.

— Четыре часа! — Я мгновенно села. — Я проспала четыре часа?

— Не волнуйся, — сказал Люк. — Нам нечего делать.

Эта фраза Показалась мне зловещей. Нам действительно нечего было делать вместе — ни работы, ни общих друзей.

— Это тебя огорчает? — спросила я. Он повернулся ко мне, улыбаясь.

— Мне только это и нравится. Надень свитер, дорогая, замерзнешь. Пойдем, выпьем чаю в отеле.

Не освещенная солнцем Ля Круазетт выглядела мрачной, ее дряхлые пальмы слегка раскачивались на слабом ветру. Отель спал. Мы попросили чай наверх. Я приняла горячую ванну и снова вытянулась рядом с Люком, который читал в постели, время от времени стряхивая пепел с сигареты. Мы опустили жалюзи из-за хмурого неба, в комнате было сумрачно, жарко. Я закрыла глаза. Только шуршание страниц, переворачиваемых Люком, врывалось в отдаленный шум прибоя.

Я думала: «Ну, вот, я рядом с Люком, я около него, мне стоит только протянуть руку, чтобы дотронуться до него. Я знаю его тело, его голос, знаю, как он спит. Он читает, я немного скучаю, это, в общем, даже приятно. Сейчас мы пойдем обедать, потом вместе ляжем спать, а через три дня расстанемся. И, наверное, уже никогда не будет так, как сейчас. Но эта минута — вот она, с нами; я не знаю, любовь ли это или соглашение, но это не важно. Мы одни, и каждый одинок по-своему. Он не знает, что я думаю про нас; он читает. Но мы вместе, и со мной частица предназначенного мне тепла и частица безразличия.

Через полгода, когда мы будем врозь, не об этой минуте я буду вспоминать, а о каких-то других, случайных. Однако именно эту минуту я люблю, наверное, больше всего, — минуту, когда я принимаю жизнь, какой она мне и представляется сейчас — спокойной и душераздирающей». Я протянула руку, взяла «Семью Фенуйар» (Люк много раз упрекал меня за то, что я ее не читала) и принялась читать и смеяться, пока Люку тоже не захотелось смеяться вместе со мной, и мы склонились над одной и той же страницей, щека к щеке, а скоро — губы к губам, наконец книга упала на пол, наслаждение опустилось на нас, ночь — на других.

И вот настал день отъезда. Из лицемерия, где главную роль играл страх: у него, что я расчувствуюсь, у меня — что, заметив это, я расчувствуюсь еще больше, мы накануне, в последний наш вечер, не упоминали об отъезде. Просто я много раз просыпалась ночью, в какой-то панике искала Люка, его лоб, руку, мне нужно было убедиться, что нежный союз нашего сна все еще существует. И каждый раз, будто подстерегая эти приступы страха, будто сон его был неглубок, Люк обнимал меня, сжимал мой затылок, шептал: «Здесь, здесь» голосом необычным, каким успо-

каивают зверей. Это была смутная, заполненная шорохами и запахом мимозы ночь, которую мы оставим позади, ночь полусна и бессилия. Потом настало утро, легкий завтрак, и Люк начал собирать вещи. Я собирала свои, разговаривая о дороге, дорожных ресторанах и прочем. Меня немного раздражал мой собственный фальшиво-спокойный и мужественный тон, потому что мужественной я себя не чувствовала и не видела причин быть ею. Я чувствовала себя никакой: несколько растерявшейся, может быть. На этот раз мы разыгрывали полукомедию, и я считала более осмотрительным так и продолжать, а то, в конце концов, он мог бы заставить меня страдать, расставаясь с ним. Уж лучше вот такое выражение лица, манеры, жесты непричастности.

— Ну вот, мы и готовы, — сказал он наконец. — Я позвоню, чтобы пришли за багажом.

Я очнулась.

— Давай последний раз посмотрим с балкона, — сказала я мелодраматическим голосом.

Он посмотрел на меня с беспокойством, потом, поняв выражение моего лица, засмеялся.

— А ты и в самом деле твердый орешек, настоящий циник. Ты мне нравишься.

Он обнял меня посреди комнаты; легко встрях-

нул.

— Знаешь, это редко бывает, когда можно сказать кому-нибудь: «Ты мне нравишься» — после двух недель совместного житья.

— Это не совместное житье, — запротестовала я, смеясь, — это медовый месяц.

— Тем более! — сказал он, отстраняясь. В тот момент я действительно почувствовала, что он оставляет меня и что мне хочется удержать его за лацканы пиджака. Это было мимолетно и очень неприятно.

Возвращение прошло хорошо. Я немного вела машину, Люк сказал, что мы приедем в Париж ночью, завтра он позвонит мне, и вскоре мы пообедаем вместе с Франсуазой — к этому времени она вернется из деревни, где провела две недели у своей матери. Меня это немного обеспокоило, но Люк посоветовал не упоминать о нашем путешествии — вот и все; остальное он сам с ней уладит. Я довольно ясно представляла себе осень — меж них двоих — встречи с Люком от случая к случаю, когда мы целуемся, любим друг друга. Я никогда не предполагала, что он оставит Франсуазу, сначала — потому что он сказал, потом — потому что мне казалось невозможным причинить такую боль Франсуазе. Предложи он мне это — я, без со-

мнения, не смогла бы в тот момент согласиться.

Он сказал мне, что по возвращении у него много работы, но не особенно интересной. Меня ждал новый учебный год, необходимость углубляться в то, что и в прошлом-то году было довольно скучным. Одним словом, мы возвращались в Париж унылыми, но мне это нравилось, потому что у обоих было одинаковое уныние, одинаковая тоска и, следовательно, одинаковая необходимость цепляться друг за друга.

Мы добрались до Парижа поздно ночью. У Итальянских ворот я посмотрела на Люка, на его немного

осунувшееся лицо и подумала, что мы легко выпутались из нашего маленького приключения, что мы действительно взрослые люди, цивилизованные и разумные, и вдруг меня охватила ярость — такой нестерпимо униженной я себя почувствовала.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мне никогда не приходилось открывать Париж заново: он был открыт мной раз и навсегда. Но сейчас я удивлялась его очарованию и удовольствию, с которым гуляла по его улицам, по-летнему неделовым. В течение трех пустых дней это отвлекало меня от ощущения абсурда, вызванного отсутствием Люка. Я искала его глазами, иногда ночью рукой, и каждый раз мне казалось нелепым и бессмысленным, что его нет. Эти две недели уже приобрели в моей памяти какую-то форму, тональность, полнозвучную и резкую одновременно. Странно, что ощущала я их отнюдь не как поражение, напротив, как победу. Победу, которая — и я хорошо это понимала — затруднит, вернее, превратит в мучение любую подобную попытку.

Вернется Бертран. Что сказать Бертрану? Бертран попытается меня вернуть. Зачем начинать с ним снова и, главное, как терпеть другое тело, другое дыхание, если это не Люк?

Люк не позвонил мне ни на следующий день, ни через день. Я приписала это сложностям с Франсуазой и извлекла из этого двойственное

ощущение собственной значительности и стыда. Я много бродила, размышляя отвлеченно и не слишком заинтересованно о наступающем годе. Быть может, я найду какое-нибудь более умное занятие, чем юриспруденция. Люк обещал познакомить меня с одним из своих друзей, редактором журнала. Если до сих пор сила инерции побуждала меня искать успокоение в чувстве, то теперь она заставляла меня искать его в профессии.

Через два дня я уже не могла справиться с желанием видеть Люка. Не осмеливаясь позвонить, я послала ему коротенькую записку, вежливую и непринужденную одновременно, с просьбой мне позвонить. Что он и сделал на следующий день: он ездил за Франсуазой в деревню и раньше позвонить не мог. Голос звучал напряженно. Я подумала, что он истосковался по мне; и на секунду, пока он говорил, представила, как мы встретимся в каком-нибудь кафе, он обнимет меня и скажет, что не может жить без меня и что эти два дня были сплошным абсурдом. Я отвечу: «Я тоже», вполне правдиво, и пусть он решает. Люк действительно предложил мне встретиться, но только чтобы сказать — все прошло хорошо, она не задала ни одного вопроса, а сам он завален работой. Он добавил: «Ты красивая» — и поцело-

вал мне руку.

Я нашла его изменившимся — он снова стал носить темные костюмы — изменившимся и привлекательным. Я смотрела на его лицо, четко очерченное и усталое. Мне было странно, что оно больше мне не принадлежит. Я даже подумала, что и вправду не сумела «попользоваться» (это слово показалось мне отвратительным) нашим совместным путешествием. Я говорила с ним весело, он отвечал в том же тоне, и оба мы были неестественны. Может быть, оттого, что оба удивлялись — оказывается, легко прожить с кем-то, две недели, и как хорошо это получается и все-таки ни к чему серьезному не ведет. И только когда он встал, во мне поднялся протест, захотелось крикнуть: "Куда же ты? Не оставишь же ты меня одну? " Он ушел, и я осталась одна. Мне, в общем, нечего было делать. Я подумала: «Комедия какая-то», — и пожала плечами. Погуляла часок, зашла в несколько кафе, надеялась кого-нибудь встретить, но никто еще не приехал. В любой момент можно было уехать еще на две недели «к своим». Но я должна была послезавтра обедать с Люком и Франсуазой и решила дождаться этого обеда, а уж потом уехать.

Эти два дня я провела в кино или валялась,

читала, спала. Моя комната казалась мне чужой. Наконец, в день обеда, я тщательно оделась и отправилась к ним. Позвонив, я на секунду испугалась, но мне открыла Франсуаза, и ее улыбка тотчас меня успокоила. Я знала (мне говорил это Люк), что она никогда не поставит себя в смешное положение, необыкновенная доброта и чувство собственного достоинства ей никогда не изменят. Она никогда не была обманутой и наверняка никогда не будет.

Забавный это был обед. Мы были втроем, и все шло прекрасно, как раньше. Только мы очень много выпили перед тем, как сесть за стол. Франсуаза, казалось, ничего не знала, но, может быть, смотрела на меня более внимательно, чем обычно. Время от времени Люк говорил со мной, глядя мне прямо в глаза, и я считала делом чести отвечать ему весело и непринужденно. Разговор зашел о Бертране, который возвращался на будущей неделе.

— Меня здесь не будет, — сказала я.

— Где же ты будешь? — спросил Люк.

— Наверно, я поеду на несколько дней к моим родителям.

— Когда вы вернетесь? Это спросила Франсуаза.

— Через две недели.

— Доминика, я перехожу с вами на «ты»! — вдруг сказала она. — Мне надоело говорить вам «вы».

— Давайте все перейдем на «ты», — сказал Люк, улыбаясь, и направился к проигрывателю. Я проследила за ним взглядом и, обернувшись к Франсуазе, увидела, что она смотрит на меня. Обеспокоенная, я ответила на ее взгляд, только бы она не подумала, что я избегаю смотреть ей в глаза. Она коснулась моей руки с легкой и грустной улыбкой, все во мне перевернувшей.

— Вы… то есть ты, напишешь мне открытку, Доминика? Ты еще не сказала мне, как там твоя мама.

— Хорошо, — сказала я, — она…

Я остановилась, потому что Люк поставил пластинку, которая постоянно звучала на побережье и разом все напомнила. Он не оборачивался. Я почувствовала, что мысли у меня пришли в полное замешательство от этой пары, от музыки, от снисходительности Франсуазы, которая не была снисходительностью, от чувствительности Люка, которая тоже не была чувствительностью — короче, от всей этой мешанины. В эту минуту мне по-настоящему хотелось сбежать.

— Мне очень нравится эта вещь, — сказал Люк спокойно.

Он сел, и я поняла, что он ни о чем таком не думает. Даже о нашем горьком разговоре о пластинках-воспоминаниях. Просто эта мелодия пришла ему на память два-три раза, и он купил пластинку, чтобы от нее отделаться.

— Мне она тоже очень нравится, — сказала я. Он поднял на меня глаза, вспомнил и улыбнулся мне. Он улыбался так нежно, так откровенно, что я опустила глаза. Но Франсуаза закуривала сигарету. Я растерялась. Такая ситуация даже не была фальшивой, потому что, мне казалось, достаточно поговорить об этом, чтобы каждый высказал свое мнение спокойно, со стороны, как если бы все это его не касалось.

— Пойдем мы на этот спектакль или нет? — сказал Люк. Он повернулся ко мне и объяснил:

— Мы получили приглашение на новый спектакль. Можем пойти втроем…

— О! Конечно, почему бы и нет?

Мне недоставало только добавить с глупым смехом: «Конечно, только этого нам и не хватало!»

Франсуаза отвела меня в свою комнату, чтобы примерить на меня одно из своих пальто, более

подходящее, чем мое. Она одела на меня одно или два, велела мне повернуться, подняла воротник. В тот момент, когда она обеими руками придерживала воротник, я засмеялась про себя: «Я в ее власти. Может быть, она меня задушит или искусает». Но она ограничилась улыбкой.

— Вы в нем немного утонули.

— Это верно, — сказала я, думая не о пальто.

— Мне надо увидеться с вами, когда вы вернетесь. "Вот оно! — подумала я. — А если она попросит меня больше не видеть Люка? Я это смогу? " И сразу ответ: «Нет, не смогу!»

— Я ведь решила заняться вами, одеть вас как следует и познакомить с вещами куда более интересными, чем эти студенты и библиотеки.

«О Боже, — подумала я, — это не тот момент, не тот, когда нужно это говорить!»

— Так как же? — повторила она, поскольку я молчала. — В какой-то степени я нашла в вас дочь. — Юна сказала это, смеясь, но очень мило. — Но если эта дочь с характером и чрезмерно интеллектуальна…

— Вы слишком добры, — сказала я, напирая на слово «слишком». — Не знаю, что мне делать.

— Не мешать, — сказала она, смеясь.

«Я попала в осиное гнездо, — подумала я. — Но

если Франсуаза так меня любит и предлагает мне видеться, я буду часто видеть Люка. Может быть, я ей все объясню. Может быть, ей это немножко все равно после десяти лет брака».

— Почему вы так хорошо ко мне относитесь? — спросила я.

— Вы принадлежите к людям того же типа, что и Люк. Натуры не очень счастливые, которым суждено искать утешения у тех, кто, как я, рождены под знаком Венеры. Вам этого не избежать…

Мысленно я воздела руки к небесам. Потом мы отправились в театр. Люк разговаривал, смеялся. Франсуаза объяснила, что вокруг за люди, кто с кем и т. д. Они проводили меня до пансиона, и Люк непринужденно поцеловал мне руку. Я вернулась несколько обескураженная, заснула, а на следующий день уехала к родителям.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Но Ионна была серая, а тоска нестерпимая. Не просто тоска, а тоска по кому-то. Через неделю я вернулась. Когда я уезжала, моя мать вдруг очнулась, спросила меня, счастлива ли я. Я заверила ее, что да, мне очень нравится юриспруденция, я много занимаюсь и у меня хорошие друзья. Успокоенная, она снова ушла в свою меланхолию. Ни на одну секунду — в отличие от прошлого года — я не почувствовала желания поговорить с ней обо всем. Да и что ей сказать? Решительно я постарела.

В пансионе я нашла записку от Бертрана, который просил позвонить, как только я вернусь. Он наверняка хотел выяснить отношения — я не очень доверяла деликатности Катрин — и в этом я ему отказать не могла. Итак, я ему позвонила, и мы договорились встретиться. В ожидании я записалась в университетскую столовую.

В шесть часов мы встретились с Бертраном в кафе на улице Сен-Жак, и мне показалось, что ничего не произошло, что все начинается снова. Но когда он поднялся и с серьезным лицом поцеловал меня в щеку, я вернулась к действительности.

Я трусливо пыталась принять легкомысленный и безответственный вид.

— Ты хорошо выглядишь, — сказала я искренне, а в голосе пронеслась циничная мыслишка: «К сожалению».

— Ты тоже, — коротко сказал он. — Я хочу, чтобы ты знала: Катрин мне все рассказала.

— Что все?

— О твоей поездке на побережье. Я тут кое-что прикинул и думаю, что ты была с Люком. Так это или нет?

— Так, — сказала я. (Я была тронута. Он не злился, а был спокоен и немного грустен.)

— Ну, так вот: я не из тех, кто делится с другими. Я еще люблю тебя настолько, чтобы не придавать этому всему значения; но не настолько, чтобы позволить себе роскошь ревновать и мучиться из-за тебя, как весной. Ты должна выбрать.

Он выпалил это одним духом.

— Что выбрать? — Мне стало скучно. Люк был прав, я не думала о Бертране как о главной проблеме.

— Или ты больше не видишь Люка, и у нас все продолжается. Или ты его видишь, и мы останемся добрыми друзьями. Больше ничего.

— Конечно, конечно.

Мне абсолютно нечего было сказать. Он как будто повзрослел, обрел солидность; я почти

восхищалась им. Но он больше ничего для меня не значил, решительно ничего. Я накрыла рукой его руку.

— Я в отчаянии, — сказала я, — но ничего не могу поделать.

— Нелегко это проглотить, — сказал он.

— Я не хочу тебя мучить, — повторила я, — и я действительно терзаюсь сама.

— Но это не самое трудное, — сказал он как бы самому себе. — Вот увидишь. Когда все решено, тогда уже не страшно. Плохо, когда цепляются.

Он вдруг повернулся ко мне:

— Ты любишь его?

— Да нет же, — раздраженно сказала я. — Не в этом дело. Мы очень хорошо понимаем друг друга, вот и все.

— Если тебе станет тоскливо, помни, я здесь, — сказал он. — А я думаю, что станет. Вот увидишь:

Люк — ничто, этакий грустный умник. И все.

Я подумала о нежности Люка, о его смехе, — какая меня охватила радость!

— Поверь мне. Во всяком случае, — добавил он как-то порывисто, — я буду здесь, Доминика. Я был очень счастлив с тобой.

Оба мы готовы были расплакаться. Он — потому что все было кончено и тем не менее ему хотелось надеяться, я — потому, что у меня было ощущение, будто я теряю истинного своего защитника и бросаюсь в сомнительное приключение. Я встала и тихонько поцеловала его.

— До свидания, Бертран. Прости меня.

— Что уж там, — сказал он мягко.

Я вышла совершенно разбитая. Замечательно начинался год.

В моей комнате меня ждала Катрин, с трагическим лицом сидя на кровати. Она поднялась, когда я вошла, и протянула мне руку. Я без энтузиазма пожала ее и села.

— Доминика, я хочу попросить прощения. Я, наверно, не должна была ничего говорить Бертрану. Как ты считаешь?

Вопрос привел меня в восхищение.

— Это не важно. Может быть, было бы лучше, если бы я сама ему сказала, но это не важно.

— Ну и хорошо, — сказала она, успокоившись. Она снова уселась на кровать — теперь вид у нее был возбужденный и довольный.

— Ну — рассказывай.

Я потеряла дар речи, потом засмеялась.

— Ну нет! Ты просто великолепна, Катрин! Про-

вентилировала вопрос с Бертраном — раз, два и готово! — и, покончив с этим неприятным делом, валяй рассказывай дальше, что-нибудь этакое, позаманчивей.

— Не издевайся надо мной, — сказала она тоном маленькой девочки. — Рассказывай мне все.

— Нечего рассказывать, — ответила я сухо. — Провела две недели на побережье с человеком, который мне нравится. По ряду соображений история на этом кончается.

— Он женат? — спросила она вкрадчиво.

— Нет. Глухонемой. А сейчас я должна разобрать чемодан.

— Ну что ж, я подожду. Все равно ты мне все расскажешь, — сказала она.

«Самое ужасное, что так оно, возможно, и будет, — подумала я, открывая шкаф. — Найдет черная меланхолия…»

— Ну ладно, а вот я, — продолжала она, как будто это было открытием, — я влюблена.

— В кого? — сказала я. — Ах да! В последнего, конечно.

— Если это тебе не интересно…

Но она продолжала. Я со злостью приводила в порядок вещи. «Почему у меня в подругах такие дуры? Люк бы ее не потерпел. А при чем тут Люк?

Притом что это, в общем, моя жизнь».

— …Одним словом, я его люблю, — заключила она.

— А что ты называешь любить? — спросила я с любопытством.

— Ну, я не знаю. Любить — это думать о комнибудь, везде с ним бывать, предпочитать его другим. Разве не так?

— Не знаю. Может быть.

Вещи были в порядке. Я вяло уселась на постель. Катрин сделалась милой.

— Ты какая-то сумасшедшая, Доминика. Ты ни о чем не думаешь. Пойдем с нами сегодня вечером. Я буду, конечно, с Жаном-Луи и с его другом, он очень умный, занимается литературой. Это тебя развлечет.

В любом случае я не хотела звонить Люку до завтра. И потом, я устала; жизнь представлялась мне унылым круговоротом, а в центре порой — единственная точка опоры — Люк. Он один меня понимал, помогал мне. Он был мне необходим.

Да, он был мне необходим. Я ничего не могла требовать от него, но он все-таки за что-то был в ответе. Главное — не нужно, чтобы он это знал. Соглашения должны оставаться соглашениями, особенно когда они могут причинить неприят-

ности другим.

— Ладно, пойдем посмотрим твоего Жан-Бернара и его умного друга. Мне чихать на ум, Катрин. Хотя нет, не так; я люблю только грустных умников. Те, которые благополучно из всего выбираются, действуют мне на нервы.

— Жан-Луи, — запротестовала она, — а не Жан-Бернар. Выбираются из чего?

— Из этого, — сказала я с пафосом и показала на окно, где виднелось низкое небо, розово-серое в вышине и такое грустное, какое может быть только над замершим адом.

— Тут что-то не так, — сказала Катрин обеспокоено, взяла меня за руку и, спускаясь по лестнице, следила, как бы я не оступилась. В конце концов, я очень хорошо к ней относилась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Короче говоря, я любила Люка, о чем и сказала себе в первую же ночь, которую снова провела с ним. Это было в гостинице, на набережной; он лежал на спине после объятий и разговаривал со мной, прикрыв глаза. Он сказал: «Поцелуй меня». И я приподнялась на локте, чтобы поцеловать его. Но, наклонившись к нему, я вдруг почувствовала какую-то дурноту, бесповоротное убеждение, что это лицо, этот человек — единственное, что у меня есть. И что неизъяснимое наслаждение, ожидание, крывшееся для меня в этих губах, — это и есть наслаждение и ожидание любви. И что я люблю его. Я положила голову ему на плечо, не поцеловав, и тихо застонала от страха.

— Хочешь спать, — сказал он, погладив меня по спине, и негромко засмеялся. — Ты, как маленький зверек, после любви спишь или хочешь пить.

— Я подумала, — сказала я, — что я вас очень люблю.

— Я тоже, — сказал он, потрепав меня по плечу… — Стоило нам не видеться три дня, и ты уже называешь меня на «вы», почему бы это?

— Я вас уважаю, — ответила я. — Уважаю и люблю. Мы вместе засмеялись.

— Нет, правда, — повторила я с увлечением, как будто эта блестящая мысль только что пришла мне в голову, — что бы вы сделали, если бы я полюбила вас всерьез?

— А ты и любишь меня всерьез, — сказал он, снова закрывая глаза.

— Я имею в виду: если бы вы стали мне необходимы, если бы я хотела быть с вами все время?..

— Мне бы стало очень скучно, — сказал он. — И даже не польстило бы.

— И что бы вы мне сказали?

— Я бы сказал тебе: «Доминика… Послушай, Доминика, прости меня».

Я вздохнула. Значит, и он не лишен ужасного рефлекса осмотрительных и совестливых мужчин, которые говорят в таких случаях: «Я тебя предупреждал».

— Заранее вас прощаю, — сказала я.

— Дай мне сигарету, — сказал он лениво, — они с твоей стороны.

Мы молча курили. Я подумала: "Ну вот, « люблю его. Наверно, любить — это всего лишь думать вот так: „Я люблю его“. Всего лишь, но только в этом спасение».

И правда, всю неделю всего лишь и было: телефонный звонок Люка: "Ты свободна в ночь с 15-го на 16-е? " Эта фраза, каждые три-четыре часа всплывавшая в моем сознании, произнесенная холодным тоном, всякий раз, стоило мне вспомнить о ней, как-то странно сжимала мне сердце-то ли от счастья, то ли от удушья. И вот теперь я была рядом с ним, и время шло очень медленно и без всяких примет.

— Мне нужно идти, — сказал он. — Без четверти пять! Поздно уже.

— Да, — сказала я. — Франсуаза здесь?

— Я сказал ей, что я с бельгийцами на Монмартре. Но кабаре сейчас должны закрываться.

— Что она подумает? Пять часов — это поздно даже для бельгийцев.

Он говорил, не открывая глаз.

— Я вернусь, скажу: "Ох уж эти бельгийцы! "-и потянусь. Она повернется и скажет: «Твоя содовая в ванной» — и снова заснет. Вот и все.

— Понятно! — сказала я. — А завтра вам предстоит торопливый рассказ о кабаре, о том, как вели себя бельгийцы, о…

— О! Простое перечисление… Я не люблю врать, да и времени особенно нет.

— А на что у вас есть время? — сказала я.

— Ни на что. Ни времени, ни сил, ни желания. Если бы я был способен хоть на что-нибудь, я бы полюбил тебя.

— Что бы это изменило?

— Ничего, для нас ничего. Во всяком случае, не думаю. Просто я был бы из-за тебя несчастлив, а сейчас мне хорошо.

Я спросила себя, не предостережение ли это в ответ на мои недавние слова, но он положил мне руку на голову, даже как-то торжественно.

— Тебе я все могу сказать. И мне это нравится. Франсуазе я не мог бы сказать, что не люблю ее, но, по-настоящему, в наших с ней отношениях нет прекрасной и устойчивой основы. Основа всему — моя усталость, моя скука. Великолепная, надо сказать, основа, прочная. На таких вещах можно создавать крепкие и длительные союзы: на одиночестве, скуке. По крайней мере она неподвижна. Я подняла голову с его плеча:

— Но ведь это все такая…

Я едва не добавила «чепуха» — так все во мне протестовало против его слов, но промолчала.

— Такая — что? Итак, легкий приступ юношеского негодования?

Он с нежностью рассмеялся.

— Мой бедный котенок, ты такая юная, такая

безоружная. Такая обезоруживающая, к счастью. Это меня успокаивает.

Он отвез меня в пансион. На следующий день я должна была завтракать с ним, Франсуазой и каким-то их приятелем. На прощание я поцеловала его через открытое окно машины. Лицо его осунулось, он выглядел старым. Эта старость больно резанула меня и на минуту заставила любить его еще больше.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Назавтра я проснулась в приподнятом настроении. Отсутствие солнца всегда шло мне на пользу. Я встала, подошла к окну, вдохнула парижский воздух, без всякой охоты закурила. Потом снова легла, не забыв взглянуть в зеркало, где обнаружила синеву под глазами и довольно занятную физиономию. Короче, интересную внешность. Я решила попросить хозяйку с завтрашнего дня включить отопление, потому что это уже переходило всякие границы.

«Здесь собачий холод», — сказала я громко, и мой голос показался мне хриплым и смешным. «Дорогая Доминика, — добавила я, — вы страстно влюблены. Надо начать лечение: вам прописаны прогулки, разумное чтение, молодые люди, может быть, неутомительная работа. Вот ведь как».

Я невольно была полна симпатии к себе. Что из того, чувство-то юмора у меня ведь сохранилось, черт побери! Мне было хорошо в моей шкуре. Я просто создана для страстей. К тому же впереди — завтрак с предметом сих страстей. Я отправилась к Люку и Франсуазе с недолговечным ощущением свободы, как после причастия — оно

было вызвано физической эйфорией, происхождение которой мне, конечно, было известно. Я на ходу вскочила в автобус, и кондуктор, воспользовавшись этим, обнял меня за талию под предлогом помощи. Я протянула ему талон, и мы обменялись понимающими улыбками, он — как мужчина, неравнодушный к женщинам, я — как женщина, привыкшая к мужчинам, которые неравнодушны к женщинам. Я стояла на площадке, держась за поручень; автобус скрежетал по мостовой, немного трясло. Очень хорошо мне было, очень хорошо от этой бессонницы, которая свила гнездо во мне где-то между челюстями и солнечным сплетением.

У Франсуазы уже сидел какой-то незнакомый мне приятель — толстый, красный, неприветливый человек. Люка не было, потому что, как объяснила Франсуаза, он провел ночь с какими-то клиентами-бельгийцами и встал только в десять часов. Эти бельгийцы со своим Монмартром порядком досаждают. Я увидела, что толстяк смотрит на меня, и почувствовала, что краснею.

Вошел Люк, у него был усталый вид.

— А… Пьер! — сказал он. — Как дела?

— Ты меня не ждал?

В нем было что-то агрессивное. Может быть,

просто оттого, что Люк удивился его присутствию, а моему — нет.

— О чем ты говоришь старик, что ты, конечно, ждал, — ответил Люк, вымученно улыбаясь. — Есть что-нибудь выпить в этом доме? Что это за соблазнительная желтая жидкость в твоем стакане, Доминика?

— Чистое виски, — ответила я. — Вы уже его не узнаете?

— Нет, — сказал он и сел в кресло, как садятся на вокзале, на самый краешек сиденья. Потом взглянул на нас — тоже каким-то вокзальным взглядом, — рассеянным и равнодушным. Вид у него был ребяческий и упрямый. Франсуаза засмеялась.

— Мой бедный Люк, ты выглядишь почти так же плохо, как Доминика. Кстати, моя дорогая девочка, я собираюсь положить этому конец. Я скажу Бертрану, чтобы он…

Она стала объяснять, что скажет Бертрану. Я не смотрела на Люка. Слава Богу, между нами никогда не было никакого заговора относительно Франсуазы. Это было даже забавно. Мы говорили о ней между собой как о любимом ребенке, который доставляет нам немало беспокойств.

— Развлечения такого рода никому не идут на

пользу, — ответил тот, кого звали Пьером, и я вдруг поняла, что, по-видимому, из-за поездки в Канн он все знает. Этим и объясняется его с самого начала уничтожающий взгляд, его сухость и полунамеки. Я вдруг вспомнила, что мы его там встретили и что Люк говорил мне о его увлечении Франсуазой. Должно быть, он негодовал, быть может, болтал лишнее. В стиле Катрин: ничего не скрывать от друзей, оказывать услуги, открывать им глаза и т. д. И если Франсуаза узнает, если будет смотреть на меня с презрением и гневом, что так ей несвойственно, и, по-моему, мною вовсе не заслужено, что я буду тогда делать?

— Идемте завтракать, — сказала Франсуаза. — Я умираю от голода.

Мы пошли пешком в ближайший ресторан. Франсуаза взяла меня под руку, мужчины шли за нами

— Какая славная погода, — сказала она. — Обожаю осень.

И не знаю почему, эта фраза напомнила мне комнату в Канне и как Люк, стоя у окна, говорил: «Тебе нужно принять ванну и выпить виски, потом все пойдет хорошо». Это было в первый день, мне было не очень хорошо; потом были еще пятнадцать-пятнадцать дней с Люком, дни,

ночи. И больше всего на свете я хотела сейчас именно этого, но это наверняка никогда больше не вернется. Если бы я знала… Хотя, если бы я и знала, ничего бы не. изменилось. Есть такая фраза у Пруста: «Счастье очень редко прилетает именно к тому желанию, которое его призвало». В эту ночь они совпали: когда я приблизила лицо к лицу Люка — а я так этого хотела всю неделю, мне даже стало дурно, быть может, просто потому, что внезапно исчезла пустота, составлявшая, в общем-то, мою жизнь. Пустота, возникавшая от ощущения, что моя жизнь и я существуем врозь. А в тот момент я почувствовала, что наконец мы с ним вместе, и эта минута, может быть, лучшая.

— Франсуаза! — послышался голос Пьера позади нас.

Мы обернулись и поменялись спутниками. Я шла впереди, рядом с Люком, мы шагали в ногу но рыжеи улице и думали мы, по-видимому, об одном и том же, потому что он бросил на меня вопросительный, даже требовательный взгляд.

— Мда, — сказала я.

Он грустно пожал плечами: незаметное движение, подчеркнувшее выражение лица.

Он вынул сигарету из кармана, закурил ее и на ходу протянул мне. Всякий раз, когда ему бывало

не по себе, он прибегал к этому средству. Притом что он начисто лишен закоренелых привычек.

— Этот тип знает о нас с тобой, — сказал он. Он сказал это задумчиво, но страха не чувствовалось.

— Это серьезно?

— Он не сможет долго противостоять искушению утешить Франсуазу. Добавлю, что за словом утешения в данном случае не стоит никаких крайностей.

На минуту я восхитилась его мужской доверчивостью.

— Это тихий болван, — сказал он. — Бывший сокурсник Франсуазы. Тебе это что-нибудь говорит? Мне это кое-что говорило.

— Меня это огорчает в той же мере, в какой это может быть неприятно Франсуазе, — добавил он. — Тел более что речь идет о тебе…

— Все понятно, — сказала я.

— Это огорчит меня и из-за тебя тоже, если Франсуаза начнет плохо к тебе относиться. Она может сделать для тебя много хорошего. Франсуаза — надежный друг.

— У меня нет надежного друга, — сказала я с грустью. — У меня нет ничего надежного.

— Тебе грустно? — спросил он и взял меня за ру-

ку. На минуту этот жест тронул меня из-за явного риска, на который шел Люк, а потом мне снова стало грустно. Он действительно держал меня за руку, и мы вместе шли на виду у Франсуазы; но она хорошо знала, что он, Люк, который держит меня за руку, — просто усталый человек. Она наверняка думала., что он не вел бы себя так, будь у него нечиста совесть. Нет, не так уж он рисковал. Он — равнодушный человек. Я сжала его руку: конечно, это был он, всего лишь он. И что именно он заполнял мою жизнь, не переставало меня удивлять.

— Не грустно, — ответила я. — Никак.

Я лгала. Я хотела сказать ему, что я лгу, что на самом деле он мне необходим, но, как только я оказывалась рядом с ним, все казалось мне нереальным. Не было ничего; ничего, кроме приятных двух недель воспоминаний, сожалений. Зачем эта раздирающая боль? Мучительная тайна любви — думала я насмешливо. В сущности, я сердилась на себя за это, потому что чувствовала себя достаточно сильной, достаточно свободной и достаточно одаренной, чтобы у меня была счастливая любовь.

Завтрак был длинный. Я смотрела на Люка, потерянная. Он был красивый, умный и утомлен-

ный. Я не хотела расставаться с ним. Я строила смутные планы на зиму. Прощаясь, он сказал, что позвонит. Франсуаза добавила, что она тоже позвонит, чтобы познакомить меня с кем-то.

Они не позвонили — ни он, ни она. Это продолжалось десять дней. От одного имени Люка мне становилось тяжело. Наконец он позвонил и сказал, что Франсуаза в курсе дела и что он даст мне знать о себе, как только сможет, — у него сейчас полно дел. Голос его был нежен. Я неподвижно стояла посреди комнаты, так до конца и не поняв. Я должна была обедать с Аденом. Он ничего не может сделать для меня. Я уничтожена.

В последующие две недели я видела Люка еще два раза. Один раз — в баре на набережной Вольтера, другой — в какой-то комнате, где мы не знали, что сказать друг другу, ни до, ни после. Во всем был привкус пепла. Очень любопытно Наблюдать, как жизнь ставит свою подпись под параграфами романтических соглашений. Я поняла, что ^решительно не способна быть веселой подружкой женатого мужчины. Я любила его. Надо было заранее представить себе, хотя бы представить, что любовь может быть именно такой: наваждением, мучительной неудовлетворенностью. Я попыталась смеяться. Он не

смеялся. Говорил со мной тихо, нежно, будто перед смертью… Франсуазе очень тяжело.

Он спросил, что я делаю. Я ответила — занимаюсь, читаю. Я читала или ходила в кино с единственной мыслью: рассказать ему об этой книге или об этом фильме, потому что он был знаком с режиссером, его поставившим. Я тщетно искала что-нибудь, что связывало нас — не считая боли, довольно гнусной, причиненной нами Франсуазе. Но ничего не было, тем не менее мы не думали терзаться угрызениями совести. Я не могла сказать ему: «Вспомни». Это значило бы нарушить правила игры и напугало бы его. Я не могла сказать, что всюду вижу или по крайней мере хочу увидеть его машину, что я без конца начинаю набирать номер его телефона, но не доканчиваю, что, возвращаясь, я лихорадочно расспрашиваю консьержку, что все сводится к нему и что я просто ненавижу себя. Я ни на что не имела права. Ни на что, даже если в этот момент рядом со мной его лицо, руки, его нежный голос, все это невыносимое прошлое… Я худела…

Ален был славный, и однажды я ему все рассказала. Мы прошагали вместе километры, он обсуждал мою страсть как литературную проблему, мне это помогло взять разбег и продолжать

разговор в том же духе.

— И все-таки ты прекрасно знаешь, что это пройдет, — сказал он. — Через полгода или год ты будешь смеяться над этим.

— Не хочу смеяться, — сказала я. — И этим я защищаю не только себя, но и все то, что у нас было. Канн, наш смех, наше согласие.

— И тем не менее ты не можешь не понимать, что когда-нибудь это уже ничего не будет значить.

— Знаю, но не придаю значения. Пусть так — мне все равно. Сейчас, сейчас нет ничего, кроме этого.

Мы гуляли. Вечером он провожал меня до пансиона, с серьезным видом жал мне руку, а я, возвратившись, спрашивала консьержку, не звонил ли мсье Люк «такой-то». Нет, отвечала она, улыбаясь. Я валилась на кровать, вспоминала Канн.

Я думала: «Люк не любит меня», и сердце начинало глухо щемить. Я повторяла себе это и снова чувствовала боль, порой довольно острую. Тогда мне казалось, что какого-то успеха я достигла: раз я могу управлять этой глухой болью, преданной, вооруженной до зубов, готовой явиться по первому зову, стало быть, я ею распоряжаюсь. Я

говорила: «Люк не любит меня», и все сжималось у меня внутри. Но притом что я могла почти всегда вызывать эту боль по своему желанию, я не могла помешать ей непроизвольно возникнуть во время лекции или за завтраком, захватить меня врасплох и заставить мучиться. И не могла больше помешать этому повседневному и оправданному ощущению тоски и амебности собственного существования среди постоянных дождей, утренней усталости, пресных лекций, разговоров. Я страдала. Я говорила себе, что страдаю, с иронией, любопытством, не знаю как еще, лишь бы избежать жалкой очевидности неразделенной любви.

И вот случилось то, что должно было случиться. Однажды вечером я увиделась с Люком. Мы покатались в его машине по Булонскому лесу. Он сказал, что должен уехать в Америку, на месяц. Я сказала, что это интересно. Потом до меня дошел смысл: целый месяц. Я судорожно закурила.

— Когда вернусь, ты меня забудешь, — сказал он.

— Почему? — спросила я.

— Так будет лучше для тебя, маленькая моя, гораздо лучше… — И он остановил машину.

Я посмотрела на него. Какое напряженное, го-

рестное лицо. Итак, он знал. Он все знал. Он был уже не только мужчиной, которого надо беречь, но и другом. Я вдруг обняла его. Прижалась щекой к его щеке. Я видела тени деревьев. Слышала свой голос, говоривший немыслимые вещи.

— Люк, это невозможно. Не оставляйте меня. Я больше не могу жить без тебя. Вы должны остаться. Я одинока, я так одинока. Это невыносимо.

Я с удивлением слушала свой собственный голос. Неприличный, детский, умоляющий. Повторяла себе то, что мог бы мне сказать Люк: «Ну хватит, хватит, это пройдет, успокойся». Но я продолжала говорить, а Люк все молчал.

Наконец, словно для того, чтобы остановить этот поток слов, он обеими руками сжал мне лицо, нежно поцеловал в губы.

— Бедняжка моя, — сказал он, — бедная моя девочка.

Голос у него срывался. Я подумала сразу: «Хватит» и «Какая я несчастная». Я заплакала, уткнувшись ему в пиджак. Время шло, скоро он отвезет меня домой, совершенно измученную. Я примирюсь, а потом его уже больше здесь не будет. Во мне поднялся бунт.

— Нет, — сказала я, — нет.

Я вцепилась у него, мне хотелось стать им,

раствориться в нем.

— Я тебе позвоню. Мы еще увидимся перед отъездом, — сказал он... — Прости меня, Доминика, прости меня. Я был очень счастлив с тобой. Знаешь, это пройдет. Все проходит. Я многое бы отдал, чтобы...

Он беспомощно развел руками.

— Чтобы полюбить меня? — сказала я.

— Да.

Щека у него была мягкая, горячая от моих слез. Я не увижу его целый месяц, он не любит меня. Отчаяние-какое странное чувство; и странно, что после этого выживают. Он отвез меня домой. Я больше не плакала. Я была убита. Он позвонил мне на следующий день и еще на следующий. Вдень его отъезда у "меня бь1л грипп. Он зашел ко мне на минуту. У меня был Ален, мимоходом, и Люк поцеловал меня в щеку. Он мне напишет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Порой я просыпалась среди ночи с пересохшими губами, и еще в полусне слышала, как кто-то шепчет мне — надо снова заснуть, снова уйти в тепло, в бессознательность, ставшую для меня единственной передышкой. Но я уже начинала думать: «Это просто жажда. Достаточно встать, дойти до умывальника, попить, и я снова засну». Но стоило мне встать, стоило увидеть в зеркале собственное отражение, слабо освещенное уличным фонарем, почувствовать тепловатую воду, текущую по мне, как отчаяние охватывало меня, и я снова ложилась в постель, дрожа от холода, ощущая настоящую физическую боль. Лежа плашмя на животе, обхватив голову руками, я вдавливала себя в постель, как будто моя любовь к Люку была каким-то смертельно опасным зверем, которого я, взбунтовавшись, пыталась раздавить, зажав между своим телом и простыней. А потом начиналась борьба. Моя память и воображение превращались в злейших врагов. Лицо Люка, Канн, все, что было, все, что могло бы быть. И тут же, сразу, сопротивление моего тела, требовавшего сна, и моего рассудка,

который был сам себе противен. Я выпрямлялась, начинала подводить итоги: «Это я, Доминика. Я люблю Люка, а он меня не любит. Неразделенная любовь, неизбежная грусть. Нужно порвать». И я представляла себе этот окончательный разрыв в виде письма Люку, изящного, благородного, объясняющего ему, что все кончено. Но письмо интересовало меня лишь в той мере, в какой его изящество и благородство снова приводили меня к Люку. Едва я мысленно пускала в ход это жестокое средство и порывала с Люком, как немедленно начинала думать о примирении.

— Надо дать себе волю, — советовали мне добрые люди. Но во имя кого? Никто другой не существовал для меня, даже я сама. Я существовала для себя только в связи с Люком.

Катрин, Ален, улицы. Этот мальчик, который поцеловал меня на случайной вечеринке, с которым я больше не захотела встретиться. Дождь, Сорбонна, кафе. Карты Америки. Я ненавидела Америку. Тоска. Неужели это никогда не кончится? Уже больше месяца, как Люк уехал. Он прислал мне письмецо, нежное и грустное, я знала его наизусть.

Меня несколько утешало, что мой рассудок, до сих пор противостоящий этой страсти, издеваясь

над ней, высмеивая меня, вызывая на сложные диалоги, понемногу превращался в союзника. Я больше не говорила себе: «Покончим с этим дурачеством», но "Как уменьшить издержки? " Ночи были неизменные, бесцветные, увязнувшие в грусти, а дни иногда проходили быстро, заполненные занятиями. Я как бы отстраненно размышляла на тему «я и Люк», что не мешало тем невыносимым приступам, когда я вдруг останавливалась посреди тротуара, и что-то поднималось во мне, наполняя меня отвращением и гневом. Я заходила в кафе, опускала двадцать франков в проигрыватель и устраивала себе с помощью каннской мелодии пять минут сплина. Ален в конце концов ее возненавидел. Но я, я знала каждую ноту, я вспоминала запах мимозы, он был со мной за мои деньги. Я себе очень не нравилась.

— Да брось, старик, — терпеливо говорил Ален, — ну что ты!

Мне не нравилось, когда меня называли «старик», но тогда это меня утешало.

— Ты очень милый, — говорила я Алену.

— Да нет, — говорил он. — Я напишу диссертацию о страсти. Это меня заинтересовало.

Но эта музыка убеждала меня. Убеждала в том,

что мне нужен Люк. Я хорошо понимала, что эта необходимость была одновременно и связана с моей любовью и отдалена от нее. Я еще могла разделить его на составные части: человеческое существо-соучастник, объект страсти — враг. И хуже всего было то, что я никак не могла принизить его, как, в общем-то, мы всегда принижаем людей, отвечающих нам равнодушием. Были даже моменты, когда думала: "Бедный Люк, как я устала бы с ним, соскучилась! " Я презирала себя за неумение быть легкой, тем более что, возможно, обида привязала бы его ко мне. Но я хорошо знала, что он не способен обидеться. Это был не противник, это был Люк. Мне было тяжело выбраться из этого.

Однажды, когда я в два часа спускалась из своей комнаты, собираясь идти на лекции, хозяйка протянула мне телефонную трубку. Сердце у меня не колотилось, когда я ее взяла. Люка ведь не было. Я тотчас узнала голос Франсуазы, нерешительный и глухой:

— Доминика?

— Да, — сказала я.

Я застыла на лестнице.

— Доминика, я хотела позвонить вам раньше. Вы не хотите зайти повидаться со мной?

— Конечно, — сказала я. Я так следила за своим голосом, что, наверное, говорила как светская дама.

— Давайте сегодня вечером, в шесть часов?

— Договорились.

И она повесила трубку.

Я была и рада, и взволнованна, услышав ее голос. Это воскрешало уик-энд, машину, завтраки в ресторане, роскошь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я не пошла на лекции, я меряла шагами улицы, спрашивая себя, что она может мне сказать. В соответствии с традицией мне казалось — я так страдаю, что никто уже не может сердиться на меня. В шесть часов стало накрапывать; улицы в свете фонарей были мокрые и блестящие, как тюленьи спины. Войдя в парадную, я взглянула на себя в зеркало. Я очень похудела и смутно надеялась, что тяжело заболею и Люк будет рыдать надо мной, умирающей, стоя в изголовье постели. Волосы у меня были мокрые, вид загнанный. Я наверняка разбужу в Франсуазе ее неизменную доброту. На секунду я задержалась, разглядывая себя. Может быть, стоит «словчить», по-настоящему привязать к себе Франсуазу, вести двойную политику с Люком, лавировать? Но зачем? Да и как лавировать при таком чувстве, утвердившемся, незащищенном, всеобъемлющем? Моя любовь удивляла и восхищала меня. Я забыла, что для меня она только причина страданий.

Франсуаза открыла мне с вымученной улыбкой, с немного испуганным видом. Войдя, я сняла плащ.

— Как у вас дела? — спросила я.

— Хорошо, — сказала она. — Садись. М-м… садитесь.

Я забыла, что она говорит мне «ты». Я села; она смотрела на меня, явно удивленная моим жалким видом. Мне стало очень жаль себя.

— Что-нибудь выпить?

— С удовольствием.

Она взяла из бара виски, налила мне. Я забыла его вкус. Ведь было только это: моя грустная комната, университетская столовая. По крайней мере подаренное ими красное пальто хорошо мне послужило. Я была так напряжена, так несчастна, что сила отчаяния вернула мне уверенность.

— Ну вот, — сказала я.

Я оторвала глаза от пола и посмотрела на нес. Она сидела на диване напротив меня и молча пристально на меня глядела. Мы могли бы поговорить о чем-нибудь постороннем, на прощание я сказала бы со смущенным видом: «Надеюсь, вы не слишком этого хотели для меня». Все зависело от меня; достаточно было заговорить, и поскорее, пока молчание не превратилось во взаимное признание. Но я молчала. Вот она, эта минута, минута настоящей жизни.

— Я хотела позвонить вам раньше, — наконец

сказала она, — потому что Люк просил меня об этом. И потому что меня огорчает ваше одиночество в Париже. В общем…

— Это я должна была вам позвонить, — сказала я.

— Почему?

Я чуть не сказала: «Чтобы попросить прощения», но эти слова были слишком слабы. Я стала говорить правду.

— Потому что я этого хотела, потому что я действительно одна. И потом, мне было бы неприятно, если бы вы думали, что…

Я сделала неопределенный жест.

— Вы плохо выглядите, — сказала она мягко.

— Да, — сказала я раздраженно. — Если бы я могла, я бы приходила к вам, вы бы кормили меня бифштексами, я бы лежала на вашем ковре, а вы бы меня утешали. Но вот незадача: вы — единственный человек, который сумел бы это сделать, но именно вы этого не можете.

Меня трясло. Стакан дрожал в руке. Больше невозможно было терпеть взгляд Франсуазы.

— Мне… очень неприятно, — сказала я в свое оправдание.

Она взяла стакан из моих рук, поставила на стол, снова села.

— Я… я ревновала, — глухо сказала она. — Ревновала к физической близости.

Я смотрела на нее. Я ожидала чего угодно, только не этого.

— Это глупо, — сказала она. — Я прекрасно понимала, что вы и Люк-это несерьезно.

Увидев выражение моего лица, она жестом попросила у меня прощения, за что я мысленно ее похвалила.

— То есть я хотела сказать, что физическая измена-это и в самом деле несерьезно; но я всегда была такой. И особенно теперь… теперь, когда…

Ей, видимо, было тяжело. Я боялась того, что она скажет.

— Теперь, когда я уже не так молода, — договорила она и отвернулась, — и не так желанна.

— Да нет же! — сказала я.

Я запротестовала. Я и не думала, что у этой истории может быть какой-то другой, неизвестный мне аспект — жалкий, то есть даже не жалкий, а такой обыкновенный, грустный. Мне-то казалось, что это касается только меня; ведь я ничего не знала об их совместной жизни.

— Не в этом дело, — сказала я и встала. Я подошла к ней и остановилась. Она снова повернулась ко мне и чуть улыбнулась.

— Бедная моя Доминика, ну и каша получилась! Я села рядом с ней, обхватив голову руками.

В ушах у меня шумело. Внутри было пусто. Хотелось плакать.

— Я очень хорошо к вам отношусь, — сказала она. — Очень. Мне больно думать, что вы несчастливы. Когда я увидела вас впервые, я подумала, что мы можем помочь вам стать счастливой, а не такой подавленной, какой вы были. Не очень-то это получилось.

— Несчастлива, — пожалуй, так оно и есть. Впрочем, Люк меня предупреждал.

Мне хотелось припасть к ней, к этой крупной великодушной женщине, объяснить ей, как бы я хотела, чтобы она была мне матерью, и как я несчастна, похныкать. Но даже эту роль я не имела права играть.

— Он вернется через десять дней, — сказала она. Какой еще удар обрушится на это упрямое сердце? Франсуаза должна вернуть себе Люка и свое полусчастье. Я должна пожертвовать собой. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Это была последняя попытка скрыть от себя собственную незначительность. Мне нечем было жертвовать, никакой надеждой. Мне оставалось только самой положить конец или предоставить времени

покончить с этой болезнью. В такой горькой покорности судьбе была доля оптимизма.

— Попозже, — сказала я, — когда это все у меня пройдет, — я снова увижу вас, Франсуаза, и Люка тоже. Сейчас мне остается только ждать.

У дверей она нежно меня поцеловала. Она не сказала: «До скорого».

Вернувшись к себе, я тут же упала на постель. Что я ей наговорила, какие бессмысленные глупости? Вернется Люк, обнимет меня, поцелует. Даже если он меня не любит, он будет здесь, он, Люк. Кончится этот кошмар.

Через десять дней вернулся Люк. Я это знала, потому что в день его приезда я проехала в автобусе мимо его дома и видела машину. Я вернулась в пансион и стала ждать звонка. Звонка не было. Ни в этот день, ни на следующий, я провела их в постели под предлогом гриппа и все время ждала.

Он был здесь. Он мне не позвонил. После полутора месяцев отсутствия. Отчаяние-это холодная дрожь, нервный смешок, неотвязная апатия. Я никогда так не страдала. Я говорила себе, что это последний рывок, но он был такой мучительный.

На третий день я встала. Отправилась на лек-

ции. Ален снова начал ходить со мной по улицам. Я внимательно его слушала, смеялась. Не знаю, почему меня преследовала фраза: «Какая-то в державе датской гниль». Она все время вертелась у меня на языке.

В последний день второй недели меня разбудила музыка во дворе — услужливое радио какого-то соседа. Это было прекрасное анданте Моцарта, несущее, как всегда, зарю, смерть, смутную улыбку. Я долго слушала, неподвижно лежа в постели. Я была почти счастлива.

Консьержка позвала меня к телефону. Я неторопливо натянула халат и спустилась. Я подумала, что это Люк и что теперь это не так уж важно. Что-то исчезло во мне.

— Ты в порядке?

Я вслушивалась в его голос. Да, это был его голос. Откуда во мне этот покой, эта кротость, будто что-то самое важное, живое для меня, уходило? Он предлагал мне посидеть с ним завтра где-нибудь в кафе. Я говорила: «Да, да».

Я поднялась к себе в комнату очень собранная, музыка кончилась, и я пожалела, что пропустила конец. Я увидела себя в зеркале, заметила, что улыбаюсь. Я не мешала себе улыбаться, я не могла. Снова — и я понимала это — я была одна. Мне

захотелось сказать себе это слово. Одна, одна. Ну и что, в конце концов? Я — женщина, любившая мужчину. Это так просто: не из-за чего тут меняться в лице.